

# ЕВГЕНИЙ САЛИАС ТУРНЕМИР

ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
ДЕЙСТВО. ТОМ 1

Россия державная

Евгений Салиас де Турнемир  
**Петербургское действо. Том 1**

«Public Domain»

2010

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Салиас де Турнемир Е. А.**

Петербургское действо. Том 1 / Е. А. Салиас де Турнемир —  
«Public Domain», 2010 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-03333-9

Имя русского романиста Евгения Андреевича Салиаса де Турнемир (1840–1908), известного современникам как граф Салиас, было забыто на долгие послеоктябрьские годы. Мастер остросюжетного историко-авантюрного повествования, отразивший в своем творчестве бурный XVIII век, он внес в историческую беллетристику собственное понимание событий. Основанные на неофициальных источниках, на знании семейных архивов и преданий, его произведения – это соприкосновение с подлинной, живой жизнью. Роман «Петербургское действо», начало которого публикуется в данном томе, раскрывает всю подноготную гвардейского заговора 1762 года, возведшего на престол Екатерину II. В сочных, колоритных сценах описан многоликий придворный мир вокруг Петра III и Екатерины. Но не только строгой исторической последовательностью сюжета и характеров героев привлекает роман. Подобно Александру Дюма, Салиас вводит в повествование выдуманных героев, и через их судьбы входит в повествование большая жизнь страны, зависима от случайности того или иного воцарения.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03333-9

© Салиас де Турнемир Е. А., 2010

© Public Domain, 2010

## Содержание

Часть первая	7
I	7
II	10
III	13
IV	17
V	19
VI	22
VII	26
VIII	30
IX	34
X	37
XI	41
XII	45
XIII	48
XIV	51
XV	55
XVI	59
Конец ознакомительного фрагмента.	61

# Евгений Салиас де Турнемир

## Петербургское действо. Том 1

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

\* \* \*

*ПОСВЯЩАЕТСЯ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ НАРЫШКИНУ*

*...а совершилось оное действо с общего от всех состояний согласия  
и восторга; и самое происхождение всего было без единой капли пролитой  
крови.*

*Из частного письма современника переворота*

*Mais c'est un conte de nulle et une nuits!! – Разумеется, это сказка из  
«Тысячи и одной ночи»!!*

*Восклицание Людовика XV при чтении депеши посла о воцарении  
Екатерины II*

## Часть первая

### I

Зима, мороз трескучий, полночь, но светло как днем!..

Вдали от жилья, среди густого леса, укрываясь среди чащи, где топырятся и переплетаются голые сучья и ветки, обсыпанные серебристым снегом, стоит человек.

Среди глуши и дичи леса, среди тиши ночной, ярко озаренный лунным светом, так что лиловатая тень пятном лежит за ним на сугробе, – он один здесь – шевелится, дышит, живет... Все окрест него мертвец немой и бездыханный, увитый белым саваном.

Мороз все убил, и всё зарыли, будто кованые и закаленные, снеговые глыбы.

Круглый месяц сияет среди ясного, синеватого неба, и только изредка укрывают его низко и быстро несущиеся округлые и крепкие облака. Как клубы дыма, облака чередую на мгновение застилают месяц и желтеют от сквозящего света... Но тотчас же месяц, будто сам прорезав их, вылетает из облачной паутины и могучим взмахом стремительно идет прочь, будто несется победно в беспредельной и многодумной синеве ночи.

И каждый раз только легкая и мгновенная тень скользнет по белым глыбам снегов и исчезнет... Будто таинственный призрак безмолвно, бесследно пронесся по земле и умчался в свой неведомый путь!..

А ясный месяц в небе, холодно-веселый, будто тоже льдистый, равнодушно глядя сюда с великой заоблачной шири, только и находит, что голую, серую, шероховатую чашу лесную да белые глыбы. И все здесь серебристо, лучисто и мертво... Только синие и пунцовые огоньки и искры вспыхивают, сверкают и меркнут, будто бегают и играют по стволам, ветвям и сугробам.

Незнакомец стоит на самой опушке леса, полуукрытый сосной, а перед ним маленькая прогалина лесная, и бела она... Бела и чиста, как только может быть бела снежная полянка среди дремучего бора, по которой нога человечья не ступала еще ни разу с начала зимы. Ни пятнышка, ни соринки, ни единой точки темной. Ясная и гладкая глыба, как бы сахарная, вся усыпана алмазными искрами и серебрится, играя в лучах месяца; а утонет он на мгновение в облаках – то синевой отливать начнет глубокий сугроб.

Человек этот – охотник. Близ него, на подачу руки, стоят, у ствола дерева, короткий мушкетон и длинная, здоровая рогатина о двух стальных зубцах. Но охотник забыл, видно, про оружие и, прислонясь спиной к большому обледенелому дубу, откатнулся на него, засунув руки в карманы мехового кафтана, закинул голову в меховой шапке, и все задумчивое лицо его в лучах месяца. Высокий ростом, плотный, могучий в плечах, удалый по лицу и взгляду, он или забыл, зачем стоит в ясную полночь среди дикого леса, или просто усыпило его – дело привычное. Или просто скучно стало, потому что давно уж он здесь. Во всей фигуре его есть что-то осанистое и гордое, что-то простое и важное вместе и в лице, и в позе, и даже в одежде. Молодое выбритое лицо, без усов и бороды, красивый профиль чистого лица, большие темные глаза, задумчиво следящие за игрой месяца с облаками, – все говорит, что это не простой охотник-зверолов из-за куска хлеба.

Тишь полночная не нарушается уже давно ни единым звуком, и немудрено было задуматься ему и заглядеться на небо. Долго стоял он так, не двигаясь и опрокинув голову, но, наконец, шевельнулся, тихо опустил голову, опустил глаза на серебристую полянку и вымолвил шепотом:

– Эх, моя бы воля...

Он вздохнул, зашевелился, передвинул ногами на утоптанном им снегу и стал озираться.

Оглядел он полянку, голую сеть стволов, ее окаймлявшую, потом глянул около себя на оружие, но, казалось, не вполне еще сознавал окружающего. Мысль его была еще слишком далеко и еще не вернулась сюда, в глушь, где топырится кругом этот обмерзлый лес, где этот мороз трещит и где стоят, прислоненные к обледенелой коре, рогатина и мушкетон, для любимой забавы, для боя один на один со страшным и сильным, но всегда побеждаемым врагом.

Однако он взял машинально сильной большой рукой тяжелую рогатину, откачнулся от дерева и оперся на нее – ради перемены положения и отдыха тела.

Полупрерванная движением его мысль снова овладела им.

– Да, моя бы воля! – вдруг вслух сказал он, и его собственные слова разбудили и его самого, и окрест молчащий лес.

Вдали раздался едва слышно какой-то звук. Не то хрустнуло что-то, не то звякнуло. И после одинокого робкого звука снова воцарилось то же затишье, тот же застой... Только и жизни что в облаках, а на земле все замерло, все недвижно.

– Что ж, однако... Тоска какая... Да и морозно! Ныне, должно быть, незадача от немцева глазу, – пробормотал он едва слышно и повел плечами.

Он начинал чувствовать, что сильный мороз стал, наконец, пробираться и под его меховой кафтан, опоясанный ремнем с серебряными насечками. За ремнем торчал большой турецкий пистолет и висел длинный кривой кинжал. Но, однако, охотник тотчас же снова поднял голову лицом к месяцу, снова забыл про мороз, лес и свою затею.

– Да. Лейб-кампанцы... в одну ночь все действо произвели! – вымолвил он снова вслух, но вдруг тотчас же как бы опомнился, огляделся на дикий лес и задвигался, окончательно разбуженный собственными мыслями.

Не сказанного вслух оробел, конечно, молодец, а тех мыслей, что наплывали, бились, роились и, не укладываясь в голове его, бежали и сменялись другими. Одна только из них постоянно будто резала остальные, пропускала их все, а сама оставалась в голове; точь-в-точь как вот этот месяц пропускает мимо себя встречные причудливые кучки облаков и режет их... Они бегут прочь, дальше, неведомо куда, по далекой синеве и исчезают в полночном небе, а месяц хоть будто и плывет, а все тут, на месте, и снова светит, и снова сияет.

Мысль эта тоже, как месяц в небе, давно ясно и несменяемо воцарилась в голове его. Мысль эту неотвязную он и выразил вслух, словно в ответ на все остальное, что наплывало в молодую голову и смущало ее образами и картинками, которые, одна ярче другой, одна заманчивее другой, были все вполне чужды всему окружающему. Чужды и окрестному дикому лесу, и его вооружению. И, зная, не забавит его та затея, которая привела его сюда: мерзнуть терпеливо на морозе и, озираясь, прислушиваться ко всякому шороху или звуку, ко всему, что может ожить вдруг среди этой немоты ночной, среди глубоких снегов и помертвелой чащи.

– Времена не те были... Да!.. – снова отдался он своим грезам. – Зато в одну ночь... Простые рядовые, гренадеры... Теперь они лейб-кампанцы да дворяне, а то Ваньки да Васьки были. А лекарь-то этот, француз, да еще с французскими же и деньгами, был тут ни при чем. Эдакого дела одними деньгами не купишь!.. Сама государыня, сказывают, только вздыхала да робела... Лесток чуть не силком сvez ее в казарму... Божье изволение все сотворило. Глас народа – глас Божий. А не будь его, какие тут французские червонцы что сделают. А ныне глас народа воистину слышен. И черный народ, и наш брат, дворянин, и гвардия... Только клич кликни кто... первый! Да, но кто?! Кто?.. Моя бы воля... Эх, все пустое! Мысли одни!!

Раздался шорох среди чащи направо от полянки, и охотник привычным глазом быстро и зорко окинул оружие за поясом, крепче обхватил рогатину и стал глядеть пристальнее в чашу. Что-то хрустнуло звучнее и ближе, и шорох приближался... Охотник выдвинулся слегка из-под дерева и стал на краю опушки, весь освещенный луной. В ту же минуту на противоположной стороне тоже появилась фигура человека и раздался голос:

– Эй! Не медведь. Смотри, не пальни!

– А я уж было думал и он! – отозвался этот.

Появившийся на опушке был тоже охотник и будто двойник первого. Такого же могучего роста, такой же плечистый и молодец с виду. Оба они были к тому же и одеты и вооружены одинаково, только у второго не было рогатины.

Охотники-богатыри, увязая в снегу по колено, сошлись на ясной полянке. Это были братья Орловы: первый – Григорий, вновь подошедший – Алексей.

## II

– Что, Алеханушка?.. Видно, чухонец-то во сне видел мишку... Должно, медведей тут и не бывало никогда с тех пор, что мы целую семейку об Рождество ухлопали.

– Не может статься, Гриша, – отозвался младший брат. – Тут на сто лет хватит и лосей, и медведей, и всякого зверья. Просто незадача. Говорил я – сглазит нас этот проклятый Будберг. Знамо дело! Молодцы едут на охоту, а он пути желает да удачи... Ну и сглазил окаянный голштинiec.

– Видишь ли, по-ихнему, из вежливости так след. Да это и вздор... глаз-то, – вымолвил Григорий Орлов.

– Вздор... Толкуй. У тебя все вздором стало после заграничного житья. Это российская примета – самая верная.

Братья помолчали. Алексей снова заговорил:

– А меня, брат, мороз стал одолевать с тоски. Пора бы уж в Красный. Поужинаем – да и домой. Ей-богу! Мало ль что?.. Может, даже нужда в нас случится. Да и морозина тоже чертовский, всю ночь не выстоишь. Как, Гриша, на твой рассудок?

– Обидно с пустыми руками.

– Наших-то не слышать. Словно померли все... Надо думать, они за версту уползли. Если и поднимут мишку, не нам достанется. Пойдем-ка к лошадям? А?..

– Пойдем, коли хочешь, – равнодушно отозвался Григорий.

– У меня поистине и не то на уме. Не так, как бывало прежде. Какие теперь забавы да охоты... – тише сказал Алексей Орлов.

– Да. Ныне не такой медведь из Немeции пожаловал вдруг да на шею сел! – весело рассмеялся вдруг старший брат, потрясая могучими плечами, и звонко раздался его смех богатырский среди серебристой чащи.

Несколько снежинок от смеха и от движения его посыпались с ближайшей сосенки и засверкали при беззвучном падении.

– Тише... Чего горланишь...

– В лесу-то? Господь с тобой, Алеханушка.

– В лесу? При Биронове, сказывал родитель, оленки из лесу бегали доносить про все, что толковалось в чаще.

– А тут теперь и оленок нету. Зима! – шутил Григорий Орлов.

– Береженого Бог бережет. Да, времена ныне пришли. Два месяца, как померла Лизавет Петровна, а что уж воды утекло... А все этот принц. Все он. Государь тут, ей-ей, ни при чем. Не приезжай он...

– Да этот принц Жорж не то что вон лесной Михаил Иванович Ведмедев, – тише вымолвил брат. – Этот не нас одних сомнет своими порядками.

– Нас?.. Как бы всю гвардию не помял, – отозвался Алексей. – Да что гвардия! Все может поломать и вверх ногами вывернуть. А мы будем смотреть да моргать! Да! – как-то странно и желчно выговорил он. – Мы будем в кустах сидеть, да ворчать, да шиш показывать за версту. И не робость помехой делу. А стыд сказать что... Лень! Да, лень... Все как-то через пень колоду валим. Погодите, да обождите, да отдохните... Да эдак вот два месяца и годим. Устанем от сиденья – на охоту... А то за бабьем ухаживать... И как, право, не наскучит? Все бабы да бабы, да все разные. Что ни неделя, новая зазнобушка. Чудно, право. Да и тому ли теперь на уме быть?

Алексей замолчал и будто слегка приуныл.

Григорий заговорил первый после минутного молчания, и голос его зазвучал как-то нежнее, будто он винулся. Упрек брата прямо относился к нему, и он мысленно сознавался в правоте его.

– Что ж, Алехан. Я не отпираюсь. Правда твоя. Да ведь это с тоски. А начните, поведите дело по-еройски. И все я брошу. И охоту, и вино, и картеж... А барынь-то ваших я и без того порешил бросить. Ну их...

– Толкуй! – усмехнулся недоверчиво Алексей. – Бросишь? Ты? Да тебе без них дня не прожить. Ты с колыбельки бабий угодник уродился.

– Угодник? Никогда я им не бывал. А по пословице: на ловца и зверь бежит. Я только не зеваю. А искать, я не ищу.

– Почему бы это так? – веселее заговорил Алексей. – Я зачастую вот думал: ведь не краше же ты других наших молодцов. А ни за кем из них наши франтихи так не бегают. И чем ты берешь?.. Наговор, что ли, какой ведаешь? У немца за границей купил?

– Наговор? На кофейную гущу натошак дую. Угольки по воде пускаю да причитываю, – рассмеялся Григорий. – Нет, брат. Мое колдовство простое, да невдомек вашим молодцам, хоть они и прытче меня. А нет проще дела.

– Что же? Приворот, что ль, какой из трав заморских?

– Мой приворот тот, что у меня любовное дело – мертвое дело!

– Поясни!

– Да, мертвое. Такое дело, что про него я один знаю да она одна знает. А это ныне в Петербурхе для всякой молодежи – чужой жены и довольно. Когда дело какое ни есть – мертвое, так тут все одно, что есть оно, что нет его.

– А Апраксина? Всему Питеру, брат, ведомо, что ты из-за нее чуть не по трубе водосточной лазил да по крыше.

– Это одно дело с оглаской и было. И то потому, что она сама хотела на всю столицу на шуметь. Ее воля была. Зато полсотни было таких, об коих ты, брат родной мой, никогда и в уме ничего не держал. Да что, Алеханушка!.. Коли к слову пришлось! – Григорий Орлов оживился, и глаза его блеснули ярче. – Может, и теперь вот... Может, со мною теперь такое приключается, такое на душе легло, что кабы ты ведал, так ахнул бы... Какое тут ахнул? Заорал бы благим матом на весь вот этот лес.

– В принцессу, что ль, какую влюбился? – рассмеялся Алексей. – Их теперь с принцем Жоржем много приехало из Голштинии.

– Нет. Что мне твои принцессы? Невидаль! Повыше их!

– Не ври.

– Зачем врать... Мы здесь не в трактире, – грустно вымолвил Григорий. – Да и не ради похвальбы я речь завел. А ради тяжести душевной... Вот уж неделю камнем лежит оно у меня на душе.

– Кто ж такая твоя новая ворожея? Такой и нет в столице. Русских принцесс у нас в Питере теперь нету! – весело говорил Алексей, но вдруг, глянув в лицо брата, запнулся и прибавил взволнованным голосом: – Гриша, балагуришь? Во сне видел...

Григорий Орлов махнул рукой и прошептал:

– Ох нет, в яви, брат. А и рад бы в ину пору, чтоб мне та явь сном обернулась!

Алексей Орлов схватил брата за руку и замер в движении.

– Гриша, да господь же с тобой... – шепнул он, почти задохнувшись.

– Алеханушка, я не говорил... а коли ты сам по догадке дошел, то молчи.

– Молчать... Я?.. Что ты, Гриша? Да тут Иуда промолчит, а я тебе брат... Ты сам-то... Сам молчи. Себе самому в горнице не сказывай!.. Гриша... Зачем? Ведь это нашему делу только помеха! И как это все? Ах, Гриша... Ведь это смертью пахнет.

– Любовь что пьянство, Алеханушка! Себя не помнишь... Да и сердце нешто спрашивается? А что смертью пахнет, мне всегда любо было, – воскликнул Григорий Орлов чуть не на весь лес. – Чудны вы, погляжу я. Ты вот в трактир ломишься, где Шванвич со всей своей компанией буянит и где тебя могут кием или кулаком убить зря... В битве на пушки да на завалы лезешь, где тебя самый лядащий немец может из пистолы уложить как муху... Ночью опять, бывает, проселком где едешь, зная, что весь тот путь грабители заставили и, того гляди, ухлопают из-за забора или из-за пня... Ну? А ведь не робеешь, лезешь на смерть!.. А тут, в любовном деле, трусить, об опаске думать!.. Тут, когда, бывает, тебя ждет твоя... твоя... Уж не знаю, как и назвать-то... Вся-то жизнь твоя и душа-то твоя там будто осталась с вечера да опять поджидает... Так тут, видишь ли, раздумывай да опаску соблюдай... Что ты, брат!.. Тебя, знать, еще ни одна не ждала. Смертью, говорит, пахнет. Тогда и любо, брат, как в ночь-то вы втроем на свидании: ты, она да смерть за плечами.

Алексей Орлов стоял понурившись и не шевелясь и уныло глядел в чашу лесную.

– Что?.. Не по-твоему?.. Эх, брат, право, тем жизнь и мила, что смерть есть.

– Ох, Гриша, Гриша...

– Чего?..

– Ох, Гриша... Что ты мне сказал! Ведь за это хочь прямо на площади голову снимай.

Григорий Орлов выпрямился.

– Голову! За что? Любовь никому не обида! А если б и так. Пускай!.. Ты, Алеханушка, знать, еще не любил никого, как я теперь. Голову, говоришь? Да десять, сто их сымай, тыщу... Голову! Да я сам себе, коли нужно, оторву свою обеими руками да брошу ей в ноги. На, мол! Чем богаты, тем и рады!!

Григорий смолк и, сдвинув шапку на затылок, проводил рукой по горячему лбу. Алексей тихо поднял голову и задумчиво глядел на круглый месяц, сиявший в небе.

### III

Прошло несколько минут молчания. Григорий Орлов собрался было снова заговорить, но младший брат вдруг поднял на него руку и стал прислушиваться. Оба вдруг притаили дыхание. Особый шорох послышался невдалеке от них; что-то хрустнуло и зашуршало, потом все смолкло... потом опять хрустнуло что-то... Других охотников, кроме них, вблизи быть не могло.

Братья поняли, переглянулись и усмехнулись. Страсть к любимой забаве сказалась сразу. И все было забыто! Оба лица, за мгновение унылые, просветлели.

– Мишенька! – почти нежно и страстно шепнул Григорий Орлов.

– Твое счастье. На тебя вышел, – отозвался брат тоже шепотом.

Шорох близился, и наконец шагах в двадцати от них показалось за прогалиной, на противоположной опушке, что-то круглое, темное, и странно двигалось оно, будто катилось клубком по снегу.

Алексей Орлов быстро достал из-за спины мушкетон.

– Палить? – шепнул он вопросительно брату. – Я на тебя поднять... а не бить.

– Да, пугни! Нет, бей по лапам. А то на двух, пожалуй, не выйдет.

Раздался выстрел. Животное рывкнуло и повернуло было в чашу, но Алексей Орлов крикнул, затопал и, достав пистолет, выпалил снова наудачу.

Медведь, матерый, темно-рыжий и огромный, вернул на охотников. Поднявшись в тени, среди голых стволов, он зашагал на задних лапах и вышел на свет, отчетливо рисуясь на освещенной луною прогалине. Длинная синяя тень легла перед ним на сугроб и двигалась вместе с ним на охотников.

Григорий Орлов, готовый на бой, будто преобразился, будто вырос еще на аршин. И от него немалая тень шевелилась на хрустящем снегу. Ухватив рогатину наперевес, он шагнул широко на медведя и гаркнул весело:

– О-го-го, миша, здорово! Вишь ты, какой почтенный! Стоит погреться с тобой.

Медведь, испуганный выстрелами и криками двух врагов, злобно сопел и нес себя высоко на ногах.

Орлов шагнул еще ближе к самому животному и привычной рукой размашисто ткнул в него рогатиной, глубоко всадив зубцы. Медведь заревел.

– Раз! – весело крикнул сзади Алексей и прибавил крепкую шутку, от которой брат рассмеялся; но дикий рев заглушил и слова и смех.

Медведь ударил лапами по рогатине, вонзенной в его живот, и обхватил ее. Оружие дрогнуло от этих ударов в руках охотника; он быстро вырвал лезвие и тут же снова вонзил. Кровь, дымясь, хлестнула из раны на серебристый снег.

– Два! Мишенька! – крикнул он весело, чуть не на весь лес. – Ой! Шибко бьет, разбойник! Придержи, Алеханушка.

Оба брата с одушевленными лицами уперли толстую и длинную рогатину в землю и держали. Медведь все ревел, все более налезал на лезвие, рвавшее его внутренности, топтал под собою окровавленный снег и, уже хрипло завывая, слабее бил по рогатине, напрасно стараясь достать удалых врагов. Пар легкими клубами валил от него и дымкой вился на морозе вокруг мохнатой шкуры...

– Сядь, миша, сядь! – весело крикнул Григорий.

– Полно хлопотать-то, садись. Гостем будешь, – прибавил и Алексей.

Животное, ослабевшее наконец от потери крови, осунулось и слегка опустилось, поджимая задние лапы. Только дикий рев оглашал лес.

– Валить? – сказал Алексей, придерживавший рогатину.

– Чего? Не слышать. Ишь орет...

– Валишь, говорю? Не встанет небось...

– Рано. Ну, да вдвоем-то осилим. Не здоровее же он Шванвича! – крикнул Григорий.

Оба брата при этом имени громко расхохотались. Медведь с испуга приподнялся снова от дружного взрыва смеха, но осунулся опять и совсем сел. Братья вырвали из снега свой конец рогатины, уперлись в нее оба и с усилием повалили животное навзничь. Медведь слабо забарахтался среди окрашенного сугроба и затем, несмотря на вырванную рогатину, не поднялся.

Григорий Орлов достал длинный кинжал из-за пояса, быстрым движением нагнулся над животным и, размашисто вонзив весь кинжал, распорол горло. Медведь зашипел и, зарывая горячую морду в снег, только судорожно подергал задними лапами и распластался во всю свою длину.

– Ладно, миша. Так-то лучше... – весело сказал Григорий. – Погрелись, однако, знатно, – обратился он к брату и, сняв меховую шапку, обтер себе лоб.

– Да, силен был покойник Михайло Иваныч.

– Будь один с ним – пришлось бы палить. Сдался бы ты, мишутка, не иначе как на немцев лад. А то ли дело эдак... Побарахтаться да погреться! Ишь ведь здоровенный!.. – нагнулся Григорий над медведем.

– Пожалуй, даже посильнее Шванвича, – усмехнулся Алексей. – Того мы вдвоем легче одолеваем.

Братья рассмеялись.

– Ну, теперь надо звать Ласунского и своих чухон.

– Вряд дозовемся. Коли на зов горластого мишки не прибежали, стало, так далеко, что и не докличешься.

Алексей Орлов достал из-за спины охотничий рог и стал трубить. Потом прислушался.

Все было тихо, и не только ответного звука другой трубы, ни шелеста, ни шороха не слышно было кругом среди морозного затишья и застоя.

– Вот что, брат, нечего даром-то за музыкой время терять, – сказал он. – Берись! Впрягемся мы в мишку, как парой в сани, да за задние лапы и потащим к лошадям. Тут более версты не будет.

И два богатыря, ухватив распластавшуюся лохматую махину, легко потащили ее, бодро шагая рядом.

Кровавый след багровой лентой вился за ними по серебру снегов.

– Эх, кабы нам, братец, дела наши все так же вот лихо вершить, как на охоте!

– Кабы суметь управиться так же споро, как мы вот с мишками справляемся, – договорил Григорий Орлов на ходу.

– Там не сила, а рассудок да смекалка дело вершат... А главное и первое всему начало – согласие... – отозвался Алексей.

– Я все тут стоял в лесу... Ждал вот этого... А прозевал бы непременно, потому что все в голове у меня лейб-камpanцы прыгали... Вот кабы эдак-то!.. В одну ночь... Без шума, без драки... без убийства своего брата офицера какого или солдата.

– Вишь чего захотел! Нешто можно? Статочное ли это дело? Ведь тут не тетушка Леопольдовна да шестимесячный младенец на престоле... Да оба немцы... Да и охраны никакой...

– А ныне-то кто ж? Все то же...

– То же, да не то. Те же щи, да с говядиной... Голштинское-то войско глядеть, что ли, будет?.. Да что голштинцы!.. Вон свои измайловцы да семеновцы по сю пору никаким голосом не откликаются. Э-эх. Все это... сновиденья одни наши! – вздохнул Алексей Орлов.

– На мой толк, Алехан, прежде всего рогатиной нам хохлацкой заручиться. Тогда все как по маслу пойдет.

– Какой рогатиной?!

– Хохлацкой. В ней вся сила! – смеялся, шагая, Григорий.

– Что ты приплетаешь? Какая хохлацкая рогатина?

– А гетман! Граф Кирилл Григорьевич.

Алексей Орлов усмехнулся и тряхнул головой:

– Мудрено. К Разумовским и ворот не найдешь; не знаешь, с какой стороны и подыхать к ним. Они оба доки мягко стлать.

– Говорю – пустите меня!

– Пустите! Рано. Что зря в петлю лезть! – отвечал серьезно младший брат. – Они по первому слову велят тебя арестовать и поедут к государю... Нам за тобой вслед и пересчитают всем головы. Да и зачем? Мы еще и не знаем сами, с какого конца взяться.

– Гетман не таков человек, чтобы доносить. Да и хитер. Он, поди, давно носом чует, чего вся гвардия желает.

– Вся гвардия! Вся ли, Гриша? Кабы вся-то желала, так мы с тобой не болтали бы зря, а дело делали.

– Ну а не в пример мудренее, говорю, начать, коли гетмана не достанешь себе.

– Начинать-то, Гриша, покуда нечего, а то и без него обойдемся. Что тут гетман?... А тяжел ведь, проклятый. Руки обломаешь об него.

– Гетман-то? Да, ленив на подъем; как все они, сказывают, хохлы.

– Вот этот гетман тяжел, говорю! – рассмеялся Алексей Орлов и бросил лапу животного. Братья остановились отдохнуть и молча стали над медведем.

– А вот что, Гриша, – выговорил вдруг Алексей. Веселый и бодрый голос его понизился и звучал иначе. – Ты подумал ли о том, братец, что ныне пост идет? Не за горами и Страстная да говенье. Как же теперь быть, если священник на духу что-либо такое к нашему делу подходящее спросит вдруг?

– Не спросит, не бойсь.

– Не спросит? Ты всегда так. Ну а спросит, говорю?..

– Да с чего ж?..

– А хоть с того вот, что уж месяц целый то и дело у нас спрашивает всяк: что у тебя на дому за сходбища да что мы засиживаемся за полночь? Пить не пьем и спать не идем.

Григорий Орлов глянул на брата и молчал.

– А лгут, Гриша, на исповеди только перекрести из татарвы.

– Вестимо. Но и открыться на духу, Алеханушка, хоть бы малость – избави бог. Не можно. Поп из-за камилавки – из мухи слона сделает и в набат ударит.

– Вот то-то и есть! Я вот эдак и думаю все: как быть?... – тихо выговорил Алексей.

И два молодца-богатыря задумались, стоя над мертвым мишкой. Огромное лохматое животное, сраженное в пятиминутной борьбе, было для них дело заурядное, над которым думать не пришлось. А говеть или нет, лгать на духу или нет – это был вопрос далеко не заурядный. Было о чем молодецкие головы поломать.

– Что ж? Отложи говеть до времени, – вымолвил наконец Григорий Орлов. – Бог простит!

– А ты, Гриша? – с изумлением воскликнул брат.

– Вестимо, тоже... Я, ты знаешь, завсегда за тобой. Как ты... А попадемся в чем после, так в Березове уж и отговею, – усмехнулся он. – И времени-то там у нас, Алеханушка, много будет, Богу-то молиться. Молись себе да молись – никто не помешает; хоть Четью-Минею там на память себе вычитывай.

– Где?

– А в Пельме, в Березове иль в Соловках.

Алексей Орлов в свою очередь весело рассмеялся, но тотчас стих и, раздумывая, вздохнул.

– Так, стало, не говеть? – сказал он наконец, как бы решаясь.

– Не говеть... Что ж? Бог простит.

– Ну ладно... Берись-ко.

Братья снова ухватили медведя за задние лапы и снова легко поволокли лохматую махину по сугробам... Широкое темно-багровое пятно осталось на месте, где лежал медведь, и снова узкий кровавый след ложился по их следам на лесных сугробах...

## IV

После получаса ходьбы Орловы вышли из лесу на опушку, где, близ шалаша, стояли две тройки, привязанные к деревьям, и нетерпеливо двигались на месте, позвякивая бубенчиками. Кучера спали в шалаше и богатырски храпели, увернувшись в рогожи.

Алексей Орлов растолкал людей, разбранил их за то, что полузамерзшие лошади были брошены без надзору.

Оба кучера стали класть медведя в большие сани, но не могли поднять его настолько, чтобы перетащить через откосы на дно саней. Лошади оглядывались, храпели, а ближайшая пристяжная уж фыркнула раз и, поджимаясь, собиралась ударить...

Орловы велели одному из кучеров садиться, другому держать тройку и, легко взмахнув медведя, бросили его в сани и затем уселись тоже. Приказав другим саням дожидаться капитана Ласунского, который с двумя крестьянами и со проводником из чухонцев еще оставался в лесу, они двинулись с своей добычей...

– Скажи Михайле Ефимовичу, – весело приказал младший Орлов, – что мы вот лапу его тезки изжарим для него под соусом в «Кабачке». Чтобы скорее ехал. А если они еще долго провозятся в лесу, то чтоб не заезжали в «Кабачок», а ехали прямо в город. Мы там долго не засидимся. Ну, пошел!

Лошади, прозябшие на морозе, охотно взяли с места вскачь, звонкий колокольчик громко залился среди снежной равнины, и скоро тройка исчезла из глаз кучера, оставшегося с другими санями ждать капитана Ласунского, приятеля Орловых.

Алексей Орлов всю дорогу покрикивал на лошадей, наконец, недовольный ездой кучера, перелез на облучок и забрал сам вожжи.

– Гляди, ротозей! Это что? Коренник шлепает в хомуте. Пристяжные то и дело что рвут да отдают. Эх ты, Маланья – пеки олады. ... Где тебе править!

Алексей выровнял вожжи в руках и, взмахнув ими, ахнул на тройку... Почувств ли другую руку или по натянутым вожжам прошла искра какая-то в коней, но они дружно и ровно подхватили сани и лихо помчались.

– Мне бы в ямщиках быть, Гриша, – крикнул Алексей Орлов, обернувшись к брату с облучка. – Какая смерть стоять на ученье ротном; а тут гляди... Сани-то самые живыми кажут!.. Вся-то тройка с санями точно зверь какой трехголовый катится по снегу. В книге Апокалипсиса такой-то вот нарисован...

Тройка неслась во весь опор по гладкой, однообразно белой равнине, окаймленной лесами; морозный воздух резал лица, и мелким сухим снегом, как песком, швыряло из-под пристяжных и закидывало Григория Орлова и шкуру медведя, лежавшего в его ногах. Голова, отвиснувшая, с тусклым глазом, с кровью у оскаленных зубов, да одна лапа с острыми когтями торчали из саней. Григорий наступил ногой на лохматую спину животного и пристально глядел на него, почти не слушая брата. Ему пришло на ум: куда девалось теперь то, что ревело на весь лес под рогатиной? куда девалась эта сила, что налегала на него, когда он сдерживал этого мишку? Был страшный зверь, а теперь лежит шуба какая-то. А где же то... что было в этой шкуре еще час назад?

– Если б я был богат, – продолжал брату кричать с облучка Алексей, оборачиваясь и не глядя почти на несущуюся вихрем тройку, – богат, вот как граф Разумовский, я бы не стал служить, а уехал бы в вотчину да завел бы сотни, тысячи коней и все катал бы на них... А что теперь при нынешнем государе в столице? Утром ученье на ротном дворе; в полдень ученье на полковом дворе, а там сейчас ученье и смотр на плацу, а вечером артикул прусский, экзерциции. На дому еще обучайся у немца какого... Ты выучил, как к ноге спускать, чтоб тыр-тыр-то этот выходил? Гриша! Ты не слушаешь?

– Вот погоди, не так еще учить начнут. Доконают совсем! – отозвался Григорий.

– А что?

– Новый учитель приедет на днях из Берлина, от Фридриха. Любимец его, слышь. Государь его выписал. Ему даже целый флигель, говорят, готовится в Рамбове. Сначала он государевых голштинцев обучит, а потом за вас примется.

– Кто ж такой?

– Офицер фридриховский, звать Котцау. Он из лучших тамошних фехтмейстеров.

– Как? Как?!

– Фехтмейстер.

– Это что ж такое?

– Мастер, значит, на эспантонах драться и вообще насчет холодного оружия собаку съел. Как приедет, так ему чин бригадира и дадут.

– Ну, вот еще!

– Отчего же не дать? Золотаря да брильянтика из жидов, Позье, сделали бригадиром. Спасибо скажи, что еще не командует вашей какой ротой преображенцев.

– А ты нас не хай! Благо сам артиллерии цалмейстер! – шутливо крикнул Алексей.

Братья замолчали.

Григорий Орлов задумавшись глядел на медведя, щуя глаза от снежной пыли и комков, что били и сыпались через крылья саней. Алексей, повернувшись к лошадям, передергивал и подхлестывал пристяжных, а потом стал снова учить кучера, показывая и рассказывая.

Вскоре снова пошел густой бор; высокие ели и сосны, обсыпанные снегом, стояли, как в шапках. Внизу чернелись, в полусумраке, толстые стволы, макушки же ярко рисовались на чистом небе и блестели. Луна сбоку смотрела через них на тройку, и деревья будто проходили под ней мимо несущихся саней.

Через полчаса тройка была уже в виду трех изб, стоявших одиноко среди леса. Невдалеке, отдельно от них, виднелся большой двухэтажный дом, с двором, обнесенным тыном. Это был прежде простой кабак, постепенно превратившийся в большой постоялый двор. Он стоял почти на полпути из Петербурга в Петергоф. Здесь останавливались всегда проезжие, ради отдыха лошадей, и здесь же братья Орловы отдыхали всегда после своих медвежьих охот. Этот постоялый двор остался со старым прозвищем: «Красный кабачок».

## V

С лишком восемьдесят лет назад, в то время, когда по указу молодого царя Петра Алексеевича властолюбивая Софья была схвачена в Кремле и отвезена в Девичий монастырь, в селе Преображенском мимо восемнадцатилетнего Петра шли тихо, рядами, бунтовщики-стрельцы, неся в последний раз на плечах свои буйные головы; а затем, на глазах его, кто волей, а кто неволей, клали эти головы под топоры работавших палачей. В одном из проходивших рядов орлиный взор царственного юноши случайно упал на очень высокую, осанистую и богатырскую фигуру седого старика с окладистой серебряной бородой.

Он мерным, степенным, боярским шагом бестрепетно выступал вперед среди других осужденных, робко шагавших к месту казни, и среди других лиц, запуганных и искаженных страхом наставшего смертного часа, его лицо глядело бодро, воодушевленно и почти торжественно. Будто не в последний раз и не под топор нес он свою поседевшую голову, красивую и умную... а будто в праздник большой от обедни шел или в крестном ходу за святыми иконами...

Царь остановил старика и, вызвав из рядов, спросил, как звать.

– Стрелецкий старшина Иван Иванов сын Орлов.

– Не срамное ли дело, старый дед, с экими белыми волосами крамольничать?! Да еще кичишься, страха не имеешь: выступаешь, гляди, соколом, будто на пир.

Старик упал в ноги царю.

– Срам велик, а грех еще того велий, – воскликнул он. – Не кичуся я, царское твое величество, и иду радостно на смерть лютую не ради озорства. Утешаюсь, что смертью воровскою получу грехам прощение и душу спасу. Укажи, царь, всем нам, вора́м государским, без милости головы посечь. Не будет покоя в государстве, пока одна голова стрелецкая на плечах останется. Ни единой-то единешенькой не повели оставить... Попомни мое слово, стариково.

Но царь молодой задержал старика стрельца расспросами о прошлых крамолах и бунтах. А ряды осужденных все шли да шли мимо... и головы клали. И все прошли под ту беседу. И все головы скатились с плеч, обагрят землю. И не кончилась еще беседа царя с старшиной крамольников, как пришли доложить, что все справлено, как указал юный царь, только вот за «эвтим дедом» дело стало...

– Иду! Иду! – зашпешил дед.

– Нет, врешь, старый! – сказал царь. – Семеро одного не ждут. Из-за тебя одного не приходится сызнова начинать расправу. Коли опоздал, так оставайся с головой.

Из всех осужденных голов, за свои умные ответы, осталась на плечах одна голова старшины Ивана Орлова.

Сын его, Григорий Иванович, участник во всех войнах великого императора, даровавшего отцу его жизнь, отплатил тою же монетою, не жалея своей головы в битвах, как не жалел ее Иван Орлов, неся на плаху. Зато, когда он был уже генерал-майором, великий государь собственноручно надел на него свой портрет. А не много было так жалованных.

Григорий Иванович, всюду и всегда первый в битвах и никогда нигде не побежденный и никогда нигде не плененный, вдруг заплатил дань искушениям мирским. Уже имея полста лет на плечах и чуть не полста ран в могучем теле, был он в первопрестольном граде Москве без войны завоеван, сражен к ногам победителя и полонен навеки. Сразил воина-генерала, как в сказке сказывается, не царь Салтан, не швед-басурман, а царевна красота; не меч булатный, не копье острое, а очи с поволокою, уста вишенные да за пояс коса русая. Григорий Иванович был полонен без боя в Москве белокаменной пятнадцатилетней дочерью стольника царского Ивана Зиновьева. И тут, в Москве, женился он и зажил. Прижили муж с женой пять сынов,

и после долгой, мирной жизни, близ Никитских ворот, скончались оба и ныне лежат там же рядком, в церкви Егорья, что на Всполье...

Сыны стали служить родине, как учил их служить своими рассказами о себе Григорий Иванович. Старший из братьев, Иван Григорьевич Орлов, один остался в Москве и, схоронив отца, заступил его место – в любви и почтении остальных братьев. Вторым, Григорий Григорьевич, был отправлен еще отцом в Петербург, в сухопутный кадетский корпус, и, выйдя из него, полетел на поля германские, где шла упорная и славная борьба.

Двадцатилетний Орлов не замедлил отличиться и после кровопролитной битвы при Цорндорфе стал всем известен, от генерала до солдата. Он попал в тот отряд, который неразумием начальства был заведен под пыль и дым от обеих армий и, неузнанный своими, полег от огня и своих и чужих. Раненный не раз, и опасно, Орлов до конца битвы стоял впереди своих гренадер. И все они стояли без дела, и ни один не побежал, и многие полегли.

После трудной кампании 1758 года русская армия отправилась на роздых в Кенигсберг, и там началось веселие, не прекращавшееся всю зиму. Победители мужей германских объявили теперь войну женам германским и на этом поле битвы равно не посрамились. Григорий Орлов был первым и в этой войне.

Кенигсберг изображал тогда полурусский город. Русское начальство не жалело рублей на увеселения и торжества, да и рубли-то эти чеканились хоть и на месте, немцами, но с изображением российской монархини Елизаветы.

Через год после своих воинских и любовных подвигов Григорий Орлов вернулся в Петербург. Взятый тогда в плен граф Шверин, любимый адъютант короля Фридриха, был вытребован императрицей в столицу, а с ним вместе должен был отправляться приставленный к нему поручик Орлов.

В Петербурге Орлов увидал братьев, служивших в гвардии, преображенца Алексея, севенца Федора и юношу-кадета Владимира. Он вскоре сошелся ближе с братом Алексеем и очутился, незаметно для обоих, под влиянием энергической и предприимчивой натуры младшего брата.

Получив от брата Ивана, безвыездно жившего в Москве, свою часть отцовского наследства, неразлучные Григорий и Алексей весело принялись сыпать деньгами, не думая о завтрашнем дне. Скоро удаль, дерзость и молодечество, неслыханная физическая сила и, наконец, развеселое «беспросыпное пирование обоих господ Орловых» вошли в поговорку.

Последний парнишка на улице, трактирный половой, или извозчик, или разносчик Адмиралтейского проспекта и Большой Морской знали в лицо Григория и Алексея Григорьевичей. Знали за щедро и часто перепавшие гроши, знали и за какую-нибудь здоровую затрещину или тукманку, полученную по башке, не в урочный час подвернувшейся им под руку – в час беззаветного разгула, буйных шалостей и тех потешных затей, от которых смертью пахнет.

Дерзкие шалуны были у всех на виду, ибо двор и лучшее общество Петербурга давно приуныло и боялось веселиться, как бывало, по случаю болезни государыни Елизаветы Петровны, которая все более и чаще хворала. Балов почти не было, маскарады, столь любимые прежде государыней, прекратились, позорищ и торжеств уличных тоже уже давно не видали... Даже народ скучал, и все ждали конца и восшествия на престол молодого государя. Все ждали, но все и боялись... Давно уже не бывало царя на Руси! И боярин-сановник, и царедворец, и гвардейцы: бригадир ли, сержант ли, рядовой ли, и купцы, и последний казачок в дворне боярина – все привыкли видеть на престоле русском монархов-женщин и как-то свыклись с тем, чтобы Русью правили, хоть по виду, женские руки и женское сердце.

От наследника престола и будущего государя можно было ожидать много нового, много перемен и много такого, что помнили люди, пережившие Миниховы и Бироновы времена, но о чем молодежь только слыхивала в детстве. Для нынешних молодцов-гвардейцев рассказы их мамок о злом Сером Волке, унесшем на край света царевну Милку, и рассказы их отцов о

Бироне слились как-то вместе, во что-то таинственное, зловещее и ненавистное. А тут вдруг стали поговаривать, что с новым государем – опять Масленая придет немцам, притихнувшим было за Елизаветино время. Говорили тоже – и это была правда, – что и Бирон прощен и едет в столицу из ссылки.

Еще за несколько месяцев до кончины государыни и восшествия на престол нового императора слава о подвигах всякого рода Григория Орлова дошла до дворца и наконец до покоев великой княгини. Екатерина Алексеевна пожелала, из любопытства, лично видеть молодого богатыря и сердцеда, кружившего головы многим придворным дамам. При этом свидании унылый образ красавицы великой княгини, всеми оставленной, и ее грустный взор, ее грустные речи глубоко запали в душу молодого офицера... После нескольких частных свиданий и бесед сначала с великой княгиней, а потом с вполне оставленной супругой нового императора, Орлов подстерег в себе новое чувство, быть может еще не испытанное им среди своих легко дающихся сердечных походов и легких побед. Он смутился... не зная, кто заставляет порывисто биться его сердце – государыня ли, покинутая царственным супругом, избегаемая всеми, как опальная и даже оскорбляемая подчас прислужниками и прихлебателями нового двора, или же красавица женщина, вечно одинокая в своих горницах, сирота, заброшенная судьбой на чуждую, хотя уже дорогую ей сторону, но где теперь не оставалось у нее никого из прежних немногих друзей. Кто из них не был на том свете – был в опале, в изгнании. Давно ли стала она из великой княгини русской императрицей, а завтрашний день являлся уже для нее в грозных тучах и сулил ей невзгоды, бури, борьбу и, быть может, печальный безвременный конец в каземате или в келье монастырской. И вот случайно или волею неисповедимого рока нашелся у нее верный слуга и друг. И кто же? Представитель цвета дворянства и блестящей гвардии, коновод и душа отчаянного кружка молодежи, заносчивый и дерзкий на словах, но об двух головах и на деле. Этот известный всему Питеру, и обществу, и простонародью Григорий Орлов всецело отдал свое сердце красавице женщине, всецело отдался разумом и волей одной мысли, одной мечте – послужить несчастной государыне и отдать за нее при случае все, хотя бы и свою голову, хотя бы и головы братьев и друзей... Эти младшие братья его, Алексей и Федор, из любви к брату были готовы тоже на все. Но им и в ум не приходило, что не один разум, а равно и сердце брата Григория замешалось теперь в дело. Их мечтанья знали и разделяли человек пять друзей, а за ними сплотился вскоре целый кружок офицеров разных полков.

Пример подвига лейб-кампанцев двадцать лет назад был еще жив в памяти многих и раздражал молодые пылкие головы, увлекал твердые и предприимчивые сердца, разжигал честолюбие... Но повторение действия лейб-кампании, часто в минуту здравого обсуждения и холодного взгляда на дело, казалось им же самым бессмысленным бредом, ибо времена были уже не те...

Однако эта мечта, этот призрак – вновь увидеть на престоле самодержца-женщину, – не их одних тревожили. Призрак этот тенью ходил по всей столице: он мелькал робко и скрытно и во дворце, укрывался и в хоромы сановников, бродил и по улице, любил засиживаться в казармах, заглядывал и в кабаки, и в трактиры, в простые домики и избы столичных обывателей центра и окраин города. И всюду призрак этот был и опасный и желанный гость и всюду смущал и радовал сердца и головы.

У призрака этого на устах была не великая княгиня, не государыня, а свет-радость наша матушка Екатерина Алексеевна.

И все рядовые гвардии знали матушку свою в лицо. Однажды, среди ночи, в полутемном коридоре дворца, часовой отдал честь государыне, одиноко и скромно проходившей мимо, под вуалью. Она, невольно озадаченная, остановилась и спросила:

– Как ты узнал меня?..

– Помилуй, родная. Матушку нашу не признать! Ты ведь у нас одна – что месяц в небе!

## VI

При звуке колокольцев около постоянного двора в доме засветились и задвигались огоньки, и, когда сани остановились у крыльца, человека четыре вышли навстречу. Впереди всех был маленький старый человек, одетый в кафтан с нашивками и галунами.

– Агафон! Небось все простыло? – выговорил Григорий Орлов, вылезая из саней.

– Что вы, Григорий Григорьевич, все горячее-распрегорячее, – отвечал Агафон, старик лакей, бывший еще дядькой обоих офицеров. Агафон отодрал за ухо убитого медведя, нисколько не удивляясь обычному трофею господ, и обратился к младшему барину, сидевшему на облучке: – А ты опять в кучерах! Эх, охота в этакый холод ручки морозить. Небось, поди, скрючило всего морозом-то... Ишь ведь зашвыряло-то как! Небось всю дорогу вскок да прыскок.

– Ах ты, хрыч старый, – весело отозвался Алексей Орлов, отряхиваясь от снега. – Тебя скрючило, вишь, так ты думаешь, что и всех скрючит.

– Ну, ну, мне-то седьмой десяток идет, а тебе-то два с хвостом махоньким... А все ж таки неправда твоя. Меня не скрючило. А ты доживи-ко вот до моих годов, так совсем стрючком будешь.

Сани с медведем между тем отъехали и стали под навес.

Григорий Орлов был уже в сенях; Алексей, перебраниваясь и шутя со стариком, вошел за ним.

В маленькой горнице был накрыт стол, и среди белой скатерти и посуды тускло светила нагоревшая сальная свеча. Тепло и запах щей, доходивший из соседней горницы, приятно охватили приезжих, простоявших на морозе несколько часов.

– Ну, поживей, Агафон. Проголодались мы, – приказал Григорий.

– Живо, живо, старая крыса! – шутливо добавил и Алексей.

– Все готово-с! Ключик пожалуйста от погребца. Он у вас остался. А то б уж давно все на столе было.

– Он у тебя, Алеша... Ах нет, тут!..

Григорий Орлов достал ключи из кармана и, бросив их на стол, сел на лавку.

Старик отпер дорожный погребец, купленный в Кенигсберге, в виде красивого сундучка и стал доставать оттуда приборы; потом, очистив от мелочей верхнюю часть сундучка, вынул за ушки большую посеребренную суповую миску с крышкой и начал из нее выкладывать такие же металлические тарелки.

Вынимая тарелку за тарелкой и дойдя до двух мисок, которые вкладывались одна в другую, помещаясь таким образом в большой суповой миске с ушками, Агафон начал качать головой и бормотать.

Алексей Орлов стоял, подпершись руками в бока, среди горницы, за спиной Агафона и, молча мотнув брату головой на старика, подмигнул. Григорий, полулежа на лавке, поглядел на лакея.

– Что? Сервиз? – вымолвил он и усмехнулся.

Агафон обернулся на это слово заморское, и морщинистое лицо его съежилось в добродушно-хитрую улыбку.

– А то нет! – воскликнул он. – Сто лет буду перебирать и в толк не возьму! Нет! Какова бестия! – И Агафон ткнул пальцем в погребец. – Что бы ему разложить все в сундуке рядышком! Нет, вишь, анафема, что придумал. Одно в одно. Соберешь со стола кучу, а уложишь, и нет ничего! Одна миска! Сто лет, говорю, буду выкладывать и эту бестию немца поминать... Уложить рядышком – какой ведь ящик бы надо... сажанный. Так нет же! Он, анафема, вишь... одно в одно... Прямая бестия, плут.

– Ну, Агафон, вот что... Соловья баснями не кормят. Давай скорее... – терпеливо, но угрюмо сказал Григорий Орлов.

– Зараз, пане, зараз! – отозвался Агафон, почти не обращая внимания. – Как были мы с вами в Вильне, помню я, тоже эдакую штуку один жид продавал.

– Ты болты болтать! – закричал вдруг Алексей Орлов громовым голосом. – Постой, болтушка! – И, живо подхватив старика за ногу и за руку, он поднял его, как перышко, на воздух, над головой своей.

– Ай!! Ай!! Убьешь! Ей-богу, убьешь! Барин! Золотой! – заорал старик. – Обещался никогда этого не делать. Стыдно! Григорий Григорьевич, не прикажите. – И старик, боязливо поглядывая сверху на богатыря-барина и на пол, кричал на весь дом.

– Расшибу об пол вдребезги!.. – крикнул Алексей и держал старикавысоко над головой. Так как горница была низенькая, то он, наконец, припер старика к балясинам потолка.

– Гриша, пощекочи его...

– Голубчик! Барин! Ради Создате... Ай-ай!

– Пусты его, Алеша. Ей-богу, есть хочется.

Алексей спустил бережно старика и поставил на пол, но едва Агафон был на ногах, он нагнулся и начал щипать его за икры.

– Бери сервиз!.. Живо... Защекочу... Прямая Фофошка, болтушка.

Агафон увертывался вправо и влево, хрипливо хихикал и вскрикивал, поджимаясь для защиты икр; наконец, он наскоро ухватил мисы и тарелки и, поневоле пятясь от барина задом наперед, кой-как пролез в двери, но разронял приборы на пороге.

– Ты в самом деле ему руки не сверни как-нибудь... – сказал Григорий, когда старик скрылся.

– Вот! Я ведь бережно... Зачем Фофошку калечить? Недаром он нас на руках махонькими таскал.

– Кости-то у него старые... Недолго и изувечить, – заметил Григорий.

Через минут пять Агафон появился с подносом. Из большой миски дымилась похлебка, из другой торчал хвост рыбы, в третьей, маленькой, миске были печеные яблоки. Лакей, уже не боясь затейника-барина, с ужином в руках, расставил все на столе, подал тарелки, приборы и, отошед в сторону с салфеткой на руке, сказал торжественно:

– Пожалуйста откусать на здоровье.

Братья порядливо, не спеша перекрестились и весело принялись за ужин.

– Вы кушайте, а я буду вам рассказывать... что тут было с час места тому.

– Ну, теперь болтай, Фофошка, сколько хочешь, – весело сказал Алексей Орлов. – Ты нам рассказывай, а мы будем тебя не слушать.

– Ан вот и будешь... – поддразнил его старик, поджимаясь и вытягивая шею вперед.

– Ан не буду! – гримасой и голосом удивительно верно передразнил его Алексей.

– Ан будешь... Да еще обеими ушами будешь слушать и кушать перестанешь от любопытства того, что я рассказывать буду...

– Ну, ну, говори!

– То-то вот... Говори теперь... Да я не тебе и говорить хотел! И презанимательная проишествия, Григорий Григорьевич, – обратился Агафон серьезно к своему барину.

Вообще старик лакей хотя любил равно всех своих господ, и маленького кадета Владимира Григорьевича, и озорника, вечного спорщика и «надсмешника» Алексея Григорьевича, но уважал он только Ивана Григорьевича Орлова, старшего из братьев, и потом боготворил своего барина Григория Григорьевича, с которым совсем не расставался уже за последние двенадцать лет ни в России, ни за границей.

– С час тому места, барин, – начал Агафон, ухмыляясь, – сижу я с содержателем Дегтевым. Хозяйка-то, стало быть, говорит вот насчет кушаньев вам поужинать. А мы двое сидим

да беседуем. Он меня про немцев землю спрашивает, про Конизбер-город и про прусского... этого... ну про Хредлиха, что немцы королем своим считают, благо у него длинен нос, до Коломны дорос, а все, поди, на глазах торчит.

Братья Орловы невольно усмехнулись тому, что называли «старой Фофошкиной песенкой». Агафон не любил немцев. Прожив между ними четыре года в Кенигсберге, он еще пуще невзлюбил их, но короля Фридриха почему-то особенно ненавидел до глубины души. Как и за что явилась эта ненависть в добром старике, он сам не знал. В Агафоне как будто что-то оскорблялось и негодовало, когда ему говорили, что Фридрих – король... монарх... Такой же вот царь немецкий, как Петр Алексеевич был русским царем. Агафон злобно ухмылялся, тряс головою и не мог никак переварить этого; если же беседа об Фридрихе затягивалась и ему доказывали неопровержимо, что Фридрих царь прусский, как и быть должно... да еще, пожалуй, «Великим» потом назовется... то Агафон, не находя опровержений, принимался ругаться, называя своего собеседника басурманом и изменником.

– Ну, ну, Фридриха ты, брат, не тронь, – сказал Алексей Орлов. – Знаешь, ныне времена не те. Это при Лизавет Петровне с рук сходило; а теперь ты, Фошка, это брось. Скоро мы вот замиримся с Хредлихом с твоим, и как ты его ругать – тебя и велят ему головой выдать. Он тебя и казнит на сенной площади в Берлине.

– Казнит! – сердито отозвался Агафон.

– Да. Сначала, это, отдерут кнутьями немецкими, а там клейма поставят, и тоже с немецкими литерами, а там уж и голову долой.

– Коротки руки – литера мне ставить...

– Дай ему, Алеша, сказывать, – вмешался Григорий.

– А ты язык-то свой попридержи, Алексей Григорьевич. Жуй себе да молчи. Ну-с, вот и беседуем мы с Дегтеревым. Вдруг, слышим, бух в двери кто-то. Меня с лавки ажио свернуло, так, скотина, шибко вдарил с размаха. Точно разбойник какой. Уж я его ругал, ругал потом за перепуг.

– Да кто такой?... – спросил Алексей.

– А ты кушай да молчи... Ну, вот, Григорий Григорьевич, отворил Дегтерев дверь... Лезет, дьявол, звенит шпорьями, кнут в руке, верхом приехал. Морда вся красная, замерз, бестия. Глянул я... Вижу, он как и быть должно... Все они эдакие, прости господи, дьяволы...

– Так-таки сам дьявол? Что ты, Фоша?! – шутливо воскликнул Алексей Орлов.

– Пост ноне, Великий пост Господень идет, Алексей Григорьевич: грех это – его помянуть! – укоризненно заговорил Агафон.

– Сам ты два раза его помянул.

– Я не поминал... Поклепов не взводи. Я немца ругал, а не его поминал. Ну вот слушайте. Вошел и кричит.

– Да кто такой? Ты же ведь не сказал, – заметил Григорий Орлов.

– А голштинец!

– Голштинец?

– Да. Солдат из потешных, из аранбовских. Вы слушайте, Григорий Григорьевич, что будет-то... «Хочу, говорит, я комнату занять. Эту самую вот. Для моего ротмейстера, кой будет сейчас за мной». Мы говорим: «Обожди, не спеши. Горница занята, и ужин там накрыт моим господам». – «Мой, говорит, ротмейстер государев».

– По-каковски же он говорит-то?

– Что по-своему, а что и по-нашему. Понять все можно. Русский хлеб едят уж давно, грамоту нашу пора выучить. Мне, говорю ему, плевать на твоего ротмейстера. Мои господа, говорю, московские столбовые дворяне, батюшка родитель их был, говорю, генерал... Да, вот что, голштинец ты мой! А ты, говорю, обогрейся в людской да и ступай с богом... откуда пришел. Он на это кричать, буянить. Подавай ему горницу и готовь тоже закусить для его ротмей-

стера. Спросил Дегтерев: «Кто таков твой начальник?» Говорит ему: «Имя я сам не знаю». – «Ну а коли ты и званья своему барину, говорю я ему, не ведаешь, то, стало, верно, прощельга какой». И Дегтерев говорит: «Господина твоего ротмейстера я не знаю, а вот его господу завсегда у меня постоем бывают с охоты, и теперь, говорит, тоже горница занята для них. А я, говорит, господ его не променяю на голштинца. Пословица ноне сказываться стала: „От голштинца не жди гостинца”». Вот что!..

– Ну, что ж, понял он пословицу-то?

– Понял, должно, буяннить начал... А потом сел, отогрелся и говорит: «Погодите, вот ужотко подъедет ротмейстер, всех вас и ваших *герров офицеров* кнутом отстегает». Ей-богу, так и говорит! Меня со зла чуть не разорвало... Сидит, бестия, да пугает... Посидит, посидит да и начнет опять пугать... Погодите вот на час, подъедет вот мой-то... Даст вам...

– Ну что ж, тот подъехал? – спросил Алексей Орлов.

– То-то не подъехал еще.

– Ну а солдат?

– И теперь тут. Ждет его. И все ведь пугает. Ей-богу. Сидит это, ноги у печи греет и пугает. Пресмелый. Ну и как быть должно, из себя рыжий и с бельмом на носу.

– На глазу то ись... Фофошка.

– Нет, на носу, Алексей Григорьевич. И все-то ты споришь. Ты не видал его, а я видел. Так знать ты и не можешь где. А учить тебе меня – не рука... Врать я – в жизнь не врал.

– Да на носу, Фоша, бельмы не бывают. Не путай!..

– У немца?! Много ты знаешь!.. И не такое еще может быть... Хуже еще может быть. Ты за границу не ездил, а мы там жили с Григорьем Григорьевичем. Да что с тобой слова тратить!.. – И Агафон сердито вышел вон, хлопнув за собою дверью.

– Озлил-таки Фофошку! – рассмеялся весело Алексей Орлов.

## VII

Через четверть часа послышался около постоянного двора звон жиденских чухонских бубенцов, без колокольчика, а затем кто-то громко и резко крикнул на дворе хозяина.

– А ведь это он, пожалуй, ротмейстер этот. То не наши, – сказал Алексей.

– Позовем его с нами поужинать, – отозвался Григорий Орлов. – Я давно уже по-немецки не говорил. Поболтаю.

– Все эти голштинцы превеликого ведь самомнения... – отозвался Алексей с гримасой.

– Ничего. Ради потехи лебезить буду да по шерстке его учну гладить. Об прусском артикуле пушуся в беседу! А как подымется каждый восояси – тогда я ему на прощание немцеву породу и его Хредлиха самого выругаю поздоровее, – рассмеялся Григорий.

– Что ж, пожалуй. Вместе детей не крестить. Поужинаем и разведемся... А то скажи ему, как Разумовский сказал какому-то нахалу. Тот напрашивался все к нему силком на бал, он и ответил: неча делать, наплевать, милости просим!..

В эту минуту в сенях раздался крик и кто-то грохнулся об землю. Затем раздался визгливый и яростный крик Агафона:

– Меня свои господа вот уж тридцать лет не бивали! Вот что-с!..

Алексей Орлов кинулся на крик лакея, но дверь распахнулась, и Агафон влетел с окровавленным носом.

– Смотрите что! – завопил старик. – Нешто он смеет чужого холопа бить?

– Dumm! Wo sind diese Leute?<sup>1</sup> – кричал голос в сенцах.

– А-а! Вот оно какое дело! – выговорил Григорий протяжно и поднялся из-за стола. Вывернув высоко вверх локоть правой руки, он гладил себя ладонью этой руки по верхней губе. Нервное дыхание сильно подымало его грудь.

Алексей Орлов быстро обернулся к брату. Этот жест и хорошо знакомая ему интонация голоса брата, говорившие о вспыхнувшем гневе, заставили его схватить брата за руку...

– Гриша, не стоит того. Стыдно! Господь с тобой.

Григорий Орлов стоял не шевелясь за столом.

На пороге показалась высокая и плотная, полуосвещенная фигура голштинского офицера в ботфортах, куцем и узком мундире с расшивками на груди. Прежде всего бросились в глаза его толстые губы и крошечные глазки под лохматыми рыжими бровями. На прибывшем была накинута медвежья шуба, на голове круглая фуражка с меховым околышком и с зеленым козырьком.

– Как вы смеее бить моего человека?! – крикнул из-за стола Григорий Орлов по-немецки.

Алексей, не понимавший ни слова из того, что говорил брат, прибавил тихо:

– Не стоит связываться, Гриша. Уступим угол горницы. Все-таки офицер...

Прибывший ротмейстер в своей шубе едва пролез в дверь и, увидя две богатырские фигуры двух братьев, сказал по-немецки несколько мягче, но все-таки важно и внушительно:

– Я, как видите, офицер войска его величества. Еду из Ораниенбаума к его высочеству принцу Георгу по важному делу... Я желаю поужинать и отдохнуть. Очистите мне сейчас эту горницу.

– Черт с ним, – шепнул Алексей брату, – позвать его поужинать с нами. А Фофошкин нос склеим, некупленный! – рассмеялся он добродушно и весело.

Ротмейстер, очевидно не понимавший ни слова по-русски, принял вдруг смех этот на свой счет и, сморщив брови на Алексея, важно закинул голову.

---

<sup>1</sup> Дурак! Где эти люди? (нем.)

– Хотите ужинать с нами, – сказал Григорий Орлов уже мягко, но улыбаясь гримасам брата на Агафона, мочившего нос водой в углу горницы.

– Спасибо! Danke sehr!<sup>2</sup> – презрительно отвечал вдруг обидевшийся немец. – Я этого не ем. – И он мотнул головой на стол. – Это глотать могут только русские.

– Ну, так эта комната и стол заняты нами! – грубо и резко вымолвил Григорий Орлов, садясь снова. – Хотите, так займите вон угол и ешьте там свою колбасу. Только живее кончайте и уезжайте, потому что меня от колбасного запаха тошнит.

– Что? Аль он заупрямился? – спросил Алексей, ничего не понимавший. – Мы ведь не в мундирах, Гриша, он, может, думает, купцы проезжие.

– Наше общество вас не унизит. Мы тоже офицеры войск его величества, – объяснил Григорий.

– Русского войска?

– Ну да, русского. Мы не в мундирах, потому что заехали сейчас с охоты.

Немцу, очевидно, показалось последнее заявление Орлова сомнительным.

«Эти два дюжих парня вряд офицеры. Скорее два русских бюргера», – подумал ротмейстер, приглядываясь к обоим, и затем вдруг крикнул в дверь... Явились два рейтара голштинского войска.

– Уберите все это вон! – приказал он по-немецки, показывая на стол. – И вы тоже – вон. Fort! Fort!..

– Ruhig!..<sup>3</sup> Кто тронет этот стол, тому я расшибу голову об стену! – крикнул Григорий по-немецки.

Рейтары остановились у дверей.

Хозяин Дегтерев показался смущенный за ними. Офицер грубо захохотал в ответ на угрозу и сбросил шубу и шапку. Затем, подойдя к столу, он взял первую попавшуюся под руку миску с рыбой, шлепнул ее на пол и взялся было за другую.

Алексей и Агафон ахнули. Григорий Орлов выскочил из-за стола и одним ударом кулака опрокинул ротмейстера навзничь, на его же шубу.

– Ко мне! Ко мне! Бей их! – закричал ротмейстер по-немецки.

Рейтары бросились было на Григория, но один из них попал под руку Алексея Орлова и, сбитый с ног, отлетел на старого лакея, которого своим падением сшиб тоже с ног. Рейтар так застонал, что товарищ его быстро отступил сам.

В минуту Алексей вышвырнул обоих солдат из горницы и запер дверь на щеколду.

Между тем Григорий Орлов уже ухватил толстого ротмейстера за шиворот и, сев на него верхом, тащил его за шею и подъезжал на нем к самому столу. Голштинец побагровел от напрасных усилий, отчаянно барахтался и хрипел.

– Алеша! Держи свинью! Гни! – крикнул Григорий, слезая с ротмейстера. Передав его в руки брата, он взял со стола большую миску и, опрокинув ее на голову ротмейстера, облил его остатками еще теплой похлебки, а затем надел опорожненную миску ему на голову.

Вся голова офицера ушла в нее. Григорий с большим усилием, сопя и кряхтя, бережно согнул на голове голштинца серебряную мису и, сдвинув края на щеки, подогнул ушки под его жирным подбородком, лишь слегка поранив ухо и помяв шею. Затем он велел брату выпустить ротмейстера из-под себя и, оттолкнув его в угол, крикнул злобно, смеясь:

– Вот вам новая голштинская каска! А имя мое – Орлов.

Офицер совершенно обезумел от совершенного вдруг над ним и, качаясь как пьяный, отодвинулся и сел на лавку. Он притих сразу и с телячьим взором глядел на братьев из-под миски. Руки его поднялись было бессознательно разогнуть ушки на подбородке и снять миску,

---

<sup>2</sup> Большое спасибо! (нем.)

<sup>3</sup> Спокойно! (нем.)

но, тронув их, он и пробовать не стал. Он обомлел от изумления, смутно поняв, что случилось что-то невозможное, даже немыслимое.

Миска, плотно обхватив затылок и темя, торчала над лбом в виде чепца, а загнутые широкие ушки держали ее и не позволяли не только снять с головы, но даже чуть-чуть сдвинуть. Чтоб разогнуть миску, нужна была та же сверхъестественная сила, которая надела ее. Голштинiec сидел недвижно и ошалелым взором глядел на одевавшихся наскоро врагов.

– Гут? А? Гут, что ли? – смеялся, одеваясь, Алексей.

Агафон быстро и злобно собирал посуду в погребец, изредка косясь на главную миску, недостававшую теперь в приборе. Увы! Она неожиданно получила совершенно новое назначение.

Братья вышли в сени. Рейтары вежливо пропустили силачей. Через несколько минут Орловы уже скакали в санях по дороге в Петербург.

– Скверно! Погорячился ты. Скверно! – повторял Алексей брату. – Имя-то он не слышал, но по миске узнают, кто такие с ним пошутили. Теперь не след было гнева государя на себя обращать. Ты знаешь, как он за голштинцев своих обижается всегда.

Агафон, сидевший боком на облучке около кучера, бормотал себе что-то под нос и махал руками по воздуху отчаянно и злобно. Наконец он обернулся к господам и сказал, вне себя от ярости:

– Отдуть бы здорово! Так!! След! Чтоб помнил, бестия. Так нет! Добро свое зря портит. Финты-фанты показывать!

– Да на миске-то вырезаны еще большие литеры: *глаголь* и *он!* – прибавил Алексей.

– Не будьте в сумлении, – язвительно отозвался Агафон, – и без литер узнается, кто такое колено отмочил. Нешто всякий это может? – воскликнул он вдруг. – Ваш покойный родитель да вы, господа, его детки. Кабы даже и не ваша посудина была, так всякий, глянув на его башку, скажет, что миска господ Орловых. Я бы взял на себя, – помолчав, серьезно выговорил старик, – да не поверят... Как вы полагаете, Григорий Григорьевич?.. А то я возьму на себя, скажу, я, мол. Мне что ж сделают?

Оба брата вдруг так громко, раскатисто захохотали на это предложение, что даже пристяжные рванули шибче. Агафон сердито махнул рукой и, отвернувшись лицом к лошадям, обидчиво молчал вплоть до Петербурга.

Между тем ротмейстер, оставшись на постоялом дворе в той же горнице, позвал солдата, заперся и возился напрасно с своей новой каской. Он пришел в себя окончательно и понял весь ужас своего положения, когда Орловы уже уехали; иначе он готов бы был просить хоть из милости снять с него миску. Напрасно оба рейтара его возились над ним и, уцепившись за края и ушки миски с двух разных сторон, тащили их из всей силы в разные стороны. Ушки не подались ни на волос из-под толстого подбородка офицера. Кроме того, один из рейтаров был гораздо сильнее товарища и при этой операции, несмотря на все свое уважение к Негг'у ротмейстеру, ежеминутно стаскивал его с лавки на себя и валил на него слабосильного товарища. При этом доставалось пуще всего голове ротмейстера, от боли кровь прилиwała к его толстой шее, и он боялся апоплексии.

Наконец, голштинiec обругал рейтаров и не велел себя трогать. Они отступили вежливо на шаг и стали – руки по швам.

Ротмейстер просидел несколько минут неподвижно, очевидно раздумывая, что делать. Наконец, ничего, вероятно, не придумав дельного, он вдруг поднял руки вверх, как бы призывая небо в свидетели невероятного происшествия, и воскликнул с полным отчаянием в голосе:

– Gott! Was für eine dumme Geschichte!!<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Боже! Что за глупая история!! (нем.)

Оставалось положительно одно – ехать тотчас в Петербург, к медику или слесарю, распиливать свою новую каску... Но как ехать?! По морозу! Сверх миски теплая шапка не влезет! Отчаяние голштинца взяло, однако, верх над самолюбием, и он, выпросив тулуп у Дегтерева, велел себе закусать им голову вместе с миской... Рейтары его обвязали наглухо, вывели под руки, как слепого, и посадили в санки. Ротмейстер решился в этом виде ехать прямо к принцу голштинскому, Георгу, дяде государя, жаловаться на неизвестных озорников и требовать примерного наказания. Дегтерев, разумеется, не сказал ему имени силачей, отзываясь незнанием, а сам офицер не запомнил русскую, вскользь слышанную фамилию. Вензель *Г. О.*, вырезанный на посудине, он видеть у себя на затылке, конечно, не мог.

Когда ротмейстер, чудищем с огромной головой, отъехал от постоянного двора, Дегтерев, уже не сдерживая хохота, вернулся в горницу, где жена подтирала пол и прибирала остатки растоптанной рыбы...

– Ай да Григорий Григорьевич! Вот эдак-то бы их всех раббовских. Они нашего брата поедом едят... Не хуже Бироновых «языков». Спасибо, хоть этого поучили маленечко... А лихо! Ай, лихо! Ха-ха-ха!

Дегтерев сел на лавку и начал хохотать, придерживая живот руками. Вскоре на его громовой хохот собрались все работники от мала до велика со всего двора и слушали рассказ хозяина.

– Горнадеры-то его... Ха-ха-ха. Один в эту сторону, на себя тянет, а тот к себе тащит, да оба мычат, а ноги-то у них по мокрому полу едут!.. А ротмистр-то глаза пучит, из-под миски-то... Ха-ха-ха! Ох, батюшки! Живот подвело. О-о-ох! Умру!..

Батраки, глядя на хохотавшего хозяина и представив себе постепенно все происшедшее сейчас в горнице, начали тоже громко хохотать.

– Этот сюда тащит, а этот туда... А ноги-то... ноги-то – по полу едут! – без конца принимались повторять по очереди батраки, после каждой паузы смеха, будто стараясь вполне разъяснить друг другу всю штуку. И затем все снова заливались здоровым хохотом, гремевшим на весь «Красный кабак».

## VIII

У ворот большого дома Адмиралтейской площади, стоящего между покатым берегом реки Невы и Галерной улицей, ходит часовой и от сильного мороза то и дело топочет ногами по ухоженному им снегу, ярко облитому лунным светом. Здесь в больших хоромах помещается прибывший недавно в Петербург принц голштинский, Георг Людвиг. Хотя уже четвертый час ночи, но в двух окнах нижнего этажа виден свет... Горница эта с освещенными окнами – прихожая, и в ней на ларях сидят два рядовых преображенца. Они часовые, но, спокойно положив ружья около себя, сидят, пользуясь тем, что весь дом спит глубоким сном; даже двое дежурных холопов, растянувшись также на ларях, спят непробудно, опрокинув лохматые головы, раскрыв рты и богатырски похрапывая на всю прихожую и парадную лестницу. Рядовые эти – молодые люди, красивые, чисто одетые и щеголеватые с виду. Обоим лет по двадцати, и оба светло-русые. Один из них, с лица постарше, плотнее, с полным круглым лицом и светло-синими глазами, тихо рассказывает товарищу длинную, давно начатую историю. Это рядовой преображенец – Державин.

Другой слегка худощавый, но стройный и высокий, с живым, но совершенно юным, почти детским лицом, с красивым орлиным носом и большими, блестящими, темно-голубыми глазами. Даже в горнице, полуосвещенной дрожащим светом нагоревшей свечи, глаза его блещут особенно ярко и придают белому, даже чересчур бледному, матовому лицу какую-то особенную прелесть, живость и почти отвагу. Лицо это сразу поражает красотой, хотя отчасти женственной. Он старается внимательно слушать товарища, но зачастую зевает, и на его лице видно сильное утомление; видно, что сон давно одолевает его на часах. Это тоже рядовой – Шепелев.

Державин кончал уже свой рассказ о том, как недавно приехал в Петербург и нечаянно попал в преображенцы.

– Так, стало быть, мы оба с вами новички, – выговорил наконец Шепелев. – А я думал, что вы уже давно на службе.

– Как видите, всего без году неделя. А вы?

– Я на Масленице приехал. Наведался прямо с письмом от матушки к родственнику, Петру Ивановичу Шувалову, и узнал, что он уже на том свете. Да, приезжай я пораньше, когда государыня была жива и он жив, то не мыкался бы, как теперь. Это не служба, а работа арестантская.

– Да, – вымолвил Державин, вздохнув, – уж ныне служба стала, государь мой, не забава, как прежде была. Вы вот жалуетесь, что на часах ночь отбыть надо... Это еще давай господа. А вот я так рад этому, ноги успокоить. А то во сто крат хуже, как пошлют на вести к кому. Вот у фельдмаршала Трубецкого, помилуй бог. Домочадцы его хоть кого в гроб уложат посылками. То сделай, туда сходи, в лавочку добеги, к тетушке какой дойди, который час – сбегай узнай, разносчика догони – вороти. Просто беда. А то еще хуже, как с вечера дадут повестки разносить по офицерам... Один живет у Смольного двора, другой на Васильевском острове, третьего черт угнал в пригород Коломну, ради собственного домишки либо ради жизни на хлебах у родственника... Так, знаете, как бывает, выйдешь с повестками до ужина в сумерки, самое позднее уж часов в шесть, а вернешься в казармы да заснешь после полуночи. А в семь вставай на ротный сбой да ученье, а там пошлют снег разгрести у дворца, канавы у Фонтанки чистить или на морозе поставят на часы да забудут смену прислать...

– Как забудут?

– Да так! Нарочно. Меня вот теперь наш ротный командир ни за что поедом ест. Он меня единожды двенадцать часов проморил на часах во дворе у графа Кирилла Григорьевича.

– Кто такой!

– Граф Кирилл Григорьевич? Гетман. Ну, Разумовский. Нешто не знаете? «Всея Хохландии самодержец» зовется он у нас... Теперь только вот обоим братьям тесновато стало при дворе, кажется, скоро поедут глядеть, где солнце встает.

– А где это? – вдруг спросил Шепелев с любопытством.

– Солнце-то встает? А в Сибири. Это так сказывается. Да... Так вот, об чем, бишь, я говорил? Да об гоньбе-то нашей. Пуще всего в Чухонский Ям носить повестки. Тут при выходе из города, где овражина и мостик, всегда беды. Одного измайловца донага раздели да избили до полусмерти.

– Грабители?

– Да. Говорят, будто из ихних... – И Державин мотнул головой на внутренние комнаты. – Два голштинских будто бы солдата, из Рамбова.

– Вот как?

– Да это пустое. Ныне, что ни случилось, сейчас валят на голштинцев, как у нас в Казани все на татар, что ни случись, сваливают. Надо думать, разбойники простые. Им в Чухонском Яму любимое сидение с дубьем.

– Что вы! Ах, батюшки! Вот я рад, что вы меня предупредили! – воскликнул Шепелев. – Я туда часто хожу. У меня там... – И молодой малый запнулся.

– Зазнобушка!

– Ох нет! То есть да... То есть, видите ли, там живет семейство одно, княжны Тюфякины.

– Ну вот! Князь Тюфякин. Да. Я ему-то и носил прежде повестки. Ныне он уж не у нас.

– Ну да, конечно. Он же ведь прежде преображенец был и недавно только в голштинцы попал. Я женихом считаюсь его сестры...

– Хорошее дело. Через него и вы чинов нахватаете. Да и как живо! Но как же это вы с Масленицы здесь, а уж в женихах?

– Ах нет. Это еще моя матушка с их батюшкой порешили давно. Мы соседи по вотчинам и родственники тоже. Теперь, вот как меня произведут в офицеры, и я женюсь! Так завещал родитель их покойный. Но один Шепелев был женат уже на одной Тюфякиной, и она приходилась золовкой, что ли, моей тетке родной. А невеста моя, хоть и от второго брака, но, может быть, это все-таки сочтется родством.

– Какое ж это родство! – рассмеялся Державин. – Вместе на морозе в Миколы мерзли. Любитесь небось шибко... Небось девица красавица и умница.

– Из себя ничего... Только я эдаких не жалую. Девица должна быть смиренномудрая. Так ведь! А эта насчет ума и других прелестей – столичная девица! Молодец на все руки. Уж очень даже шустр и словоохотлива. Она и родилась здесь. Батюшка мой покойник и матушка тоже заглазно мне ее определили в жены. Ну, да это дело... Это еще увидится. Я отбоюсь. Мне с князем Глебом уж больно шибко неохота родниться.

– А что же? Он ныне в силе. Голштинец, хоть и русский.

– Нехороший человек. Я уж порешил отбояться от его сестры.

И молодой малый тряхнул головой и усмехнулся с напускной детской важностью. Он, как ребенок, хвастал теперь перед новым знакомым своей самостоятельностью относительно вопроса о женитьбе.

– Вы одни у матушки?

– Один как перст.

– И вотчины, и все иждивение будет ваше.

– Да, но... – Шепелев снова запнулся в нерешительности: сказать или нет? И, как всегда, совестливость его и прямота взяли верх. – Нечему переходить-то... – продолжал он. – У матушки имение хотя и есть... но покойник родитель оставил ей такой чрезмерный долгище, что заплатить его не хватит никаких вотчин. Если б и весь уезд был нашей вотчиной, так не хватило бы.

– И в этом мы с вами ровни. У меня тоже немного. Но все-таки вы не живете в казармах! – прибавил Державин.

– Я у дяди Квасова на хлебах...

– Господин Квасов, гренадерской роты нашей. Знаю его за добрейшей души человека, – сказал Державин и в то же время подумал про себя: «Как этого лешего не знать!»

– Он из лейб-компаний, – как-то странно сказал Шепелев, будто предупреждая вопрос Державина. – Но я его очень люблю...

– Как же, позвольте... – заговорил этот. – Извините за нескромность. Как же господин Квасов оказался вашим дядюшкой?..

– Видите ли... Когда их всех царица покойная произвела в дворяне, по восшествии своем на престол, то брат младший Квасова, тоже бывший солдат-гренадер, но очень видный и красивый, прельстил одну мою тетку двоюродную, которая всегда жила в Петербурге. Он на ней и женился и вскоре умер. Вот господин Квасов и выходит мне теперь...

– Да... Опять тоже на морозе вместе мерзли... Какая ж это родня! – рассмеялся Державин.

– Да. Но я его очень люблю. Он истинно добрый и благородный человек, хотя происхождения и не нашего, дворянского.

– Вы у него, стало, и живете в качестве родственника. Ну-с, я не так счастлив, живу с рядовыми солдатами. Плачу за себя пять рублей в месяц одному капралу Волкову и у него же в горнице, в углу, и живу за перегородкой. Тяжело. Придешь иной раз домой, ухोдившись в рассылках, или с вестей, или после ученья, хочешь заснуть, а тут ребятки орут, бабы их меж собой ругаются, а то и в драку полезут. А мужья их мирить да разнимать – помелом, бревном либо и кочергой. А начальство ни в грош не ставят. Кричи не кричи. Помню вот как-то ночью просыпаюсь – шум, гам в казармах, а меня с кровати кто-то тянет за одеяло да молится, пусть его на постель. По казарме ходят, орут, ищут. Очнулся я совсем, смотрю – наш же флигельман, Морозов. «Ты что?» – спрашиваю. «Убить хотят. Дежурный офицер отлучился на вечеринку. Не выдавайте им меня. Защитите, родной, до утра, а то убьют спяну. Удрать не могу – ворота стерегут. Спасите. Вас, как барского роду, не посмеют тронуть». – «Да как же мне, – говорю, – тебя спасти?» – «Пустите, – говорит, – лечь на вашу кроватьку под одеяло. А сами уйдите куда-нибудь». Что ж делать-то? Пустил, а сам встал и пробрался тихонько на улицу. Всю ночь они проискали его – убить, а моей кровати не трогают... Это, говорят, наш барчук спит. Так он до зари, зарывшись в мое одеяло, и пролежал, покуда офицер не вернулся и не унял пьяных. А ведь флигельман нас же и обучает и, стало быть, такое же начальство, что и офицер. Да-с, повиновения у нас мало. Буяны все да озорники. С жиру бесятся.

– Отчего ж они буянили-то спяну?

– Да. Первое дело, у нас новый путало завелся, господин Орлов. Слыхали, я чаю, два брата, силачи эдакие. Другой-то брат, старший, артиллерии цалмейстер... Не знаете?

– Нет.

– Что это вы ничего не знаете? Я вот и недавно прибыл, а все знаю. Ну, вот этот Орлов – воистину путало – зачастую угощает вином свою роту. Так, зря, видно, денег девать некуда. Вот они в те поры и напились. А как флигельман Морозов больно доехал их ученьем, то они спяну и полезли. Да, сказывают, и Орлов за что-то зол на Морозова и их науськивал на него. Выйдет, мол, шум, другого назначут флигельмана. А эдакое ему зачем-то на руку. Двуличневый этот народ – оба брата.

– Орловы?

– Да-с. Деньги тратят большие, а состояния большого у них нет. Всякий вечер у них собрания офицеров! Крик, гам, затеи шальные. А ведь квартира-то их на видном месте, недалеко и до самого дворца. Был уж, говорят, раз приказ им от принца – держать себя скромнее. И

ничего не помогло. Говорили, будто даже один из них, наш же офицер, Пассек, отвечал: «У вас-де там пиво пьют; а мы матушку-сивуху тянем, так мы друг дружке не помеха».

– Однако дерзость какая? Что ж на это принц ответил?

– Ну, до принца-то оно, положим, вряд дошло. Кто ж эдакое пойдет передавать? Сам ног не унесешь... Что это такое?! – вдруг прибавил Державин, прерывая беседу и оборачиваясь в окно. – Будто подъехали. Слышите, полозья скрипят по снегу.

Оба рядовых прислушались и, под здоровый храп спящих на ларях холопов, с трудом расслышали шум полозьев и звук бубенцов. Они глянули в окно и среди яркой, белой улицы, освещенной как днем, увидели сани парой, с кучером чухонцем, а в санях что-то огромное, странное. За санями ехали верхом двое солдат.

– Рейтары! – воскликнул Державин. – Голштинцы!

– Ночью? Что ж бы это значило?

– Привезли в санях что-то. Да нет! Это живой человек, сам встает. Что за притча! Пойдемте на крыльцо...

Часовые взяли ружья с ларя и вышли.

## IX

Чудовище, выползшее из саней при помощи рейтаров, был, конечно, добравшийся кой-как в город несчастный ротмейстер. Солдаты ввели его под руки на крыльцо и стали вводить на лестницу.

Но часовые были уже внизу и, загородив лестницу, остановили и опросили прибывших.

– К его высочеству! – загудело что-то по-немецки из-под тулупа, наверхенного над медвежьей шубой, там, где предполагалась голова.

Часовые, однако, не решались пропускать.

– Кто вы? Мы ночью не имеем приказа впускать кого-либо, помимо офицеров ваших, – сказал Державин также по-немецки.

Офицер раскутался при помощи рейтаров. Молодые люди сначала остолбенели от удивления при виде чего-то блеснувшего и не сразу разглядели, что именно блестит на голове приезжего. Первое движение Державина было гнать всех троих вон; он вспомнил вдруг о разных глупых шалостях, которые позволяли себе разные гвардейцы с принцем Жоржем и которые все учащались за последнее время вследствие его доброты и безнаказанности со стороны начальства. Приняв теперь вновь прибывших за переодетых балагуров, он быстро сообщил свою догадку Шепелеву. И оба часовых, отступив в верх лестницы, стали на пороге самых дверей с твердым намерением не пропускать ряженных озорников.

«Небось тоже из отчаянной компании господ Орловых! – подумал Державин. – Из-за них, проклятых, сам в ответ попадешь».

Между тем тоже поднявшийся офицер порывался решительно войти в двери, и лицо его было вовсе не забавно, голос вовсе не шутлив. К тому же и офицер и солдаты были, очевидно, неподдельные немцы.

– Я ротмейстер голштинского войска, – сказал офицер на чистом немецком языке. – Прикажите сейчас вызвать камердинера его высочества Михеля. Сию минуту...

– Послушайте! – заметил наполовину понявший Шепелев. – Он не пьян ли? У него только на голове что-то диковинное! А мундир – ничего! Являться в таком виде к принцу и голштинцу нельзя позволить. Он хоть и не ряженный, но дело-то все-таки неладно. Опросите его толком, в чем дело.

Державин объяснил приезжему то же подозрение, по-немецки спрашивая, что за причина его головного убора. Ротмейстер настойчиво, силой пролез в переднюю мимо юных часовых, резко заявив, что это не их дело и что объяснение всего – тайна, которая касается одного принца.

Разбудив храпевшего лакея, часовые поневоле велели ему идти будить главного принцева камердинера Михеля.

Парень, по имени Фома, спросонья чуть не принял прибывшего офицера за самого черта и, перекрестившись, попятился на ларь.

– Ну, ну, небось. Иди будить... – сказал Державин.

Ротмейстер молча и угрюмо сел на лавку около окна... Серебряная миска ярко блестела и переливалась в два света: и в лучах свечи, и в лунном свете, падавшем в обледенелое окно.

Рейтары почтительно стали у дверей около часовых...

Державин и Шепелев, очнувшись от первого удивления и поняв, что приезжему не до шуток, переглядывались, кусая себе губы, и едва сдерживались от невольного смеха.

Вышел наконец, позевывая, сонный Михель и, вытирашив заспанные глаза, уперся, не подходя близко к офицеру. Этот встал и приблизился. Михель ахнул и ругнулся по-немецки, затем возопил хрипливо:

– Gott! Вы ли это, господин Котцау?.. Was hat man?..<sup>5</sup>

Но офицер его перебил:

– Уведите меня к себе. Я вам все объясню. Теперь, – обратился он к рейтарам, – ступайте домой. Скажите, что я остался у его высочества. Там, у себя, никому ни слова. Как сказано! Слышите?!

Рейтары вышли и уехали. Часовые остались в прихожей, и Шепелев, упав на ларь, начал хохотать, закрывая рот руками, чтоб не огласить хохотом спавший дом. Державин тоже смеялся весело...

– Что же это такое? – сказал, наконец, Шепелев.

– А вот наутро встанет принц, объяснится машкарад этот. Может, это новый шлем такой голштинцам дан, – острил Державин. – Недаром сказывали, что к Святой всем полкам гвардии перемена мундиров будет. А ведь я эту фамилию что-то слышал. Котцау?! И не раз слышал.

– Кастрюля, как быть должно! – выговорил, зевая, Фома, снова укладываясь на ларе и не обращая внимания на двух солдат часовых. – Вот завтра принц наш переймет, себе тоже такую наденет.

– Это же почему? – спросил Шепелев, переставая смеяться и удивленный отчасти той грубостью, с какой парень отзывался о принце, в доме которого служил.

– Почему! Этот немец нашего каждодневно учит, на... как бишь, на шпатолах, что ли? Ну вот на эдаких на длинных тесаках, что ли.

– Какой немец?

– А этот вот самый, Котцапый имя-то; вот что в кастрюлю-то нарядился. Он у нашего вот третий день бывает и обучает его по-военному, тот глядит да перенимает. Что тот ни сделает, а принц за ним то же. Ногами так топчут оба по горнице, что страсть! Ну вот теперь этот кастрюлю вздел, а наш, стало быть, завтрава уж целый чугун нацепит... А то и нам всем, дворне, по горшку из-под каши наденут. Это верно! О-хо-хо-хо!

– Хорошо вам тут жить аль дурно? – спросил Державин, догадавшись по нахальному тону лакея, что он недоволен житьем своим.

– Нам-то?.. Хорошо! – лениво выговорил Фома, поворачиваясь на ларе на бок, к ним спиной. – Уж так эвто хорошо! – мычал он уже в стену. – Так то ись хорошо... что, поди, еще лучше вашего.

– А что?.

– Немцы? Что?! От голштинца не жди...

– Не жди гостинца. Слыхал я это...

В эту же минуту в доме зашумели и заходили. Послышался чей-то голос, потом другой, говорившие по-немецки.

– А ведь, верно, разбудили принца. Стало быть, дело-то важное выходит, – заметил Шепелев, и оба юных часовых прислушались.

К ним по коридору шел кто-то, звеня шпорами. Они стали на места, схватив с ларя положенные ружья.

– Эту ночь, видно, не посидишь! – усмехнулся Шепелев.

В прихожую вышел офицер, тоже в мундире голштинского войска, и обратился к ближайшему Шепелеву на довольно правильном русском языке, но с иностранным акцентом. Это был адъютант принца, Фленсбург. Приняв Шепелева за простого солдата, он приказал ему немедленно разыскать медника, слесаря или кого бы то ни было с подпилком и с разными инструментами.

– Понимаешь зачем? Видел? – кратко выговорил он.

– Офицер в кастрюле то ись? – отозвался Шепелев.

---

<sup>5</sup> Боже! Что это?..

– Да. Ты город знаешь небось наизусть. А?.. Знаешь? Найди же скорее и приведи сюда.

– Я города совсем не знаю! – отозвался сумрачно Шепелев. – Я сюда недавно и приехал, ночью же и совсем можно сбиться...

– Русский солдат по всему! – резко сказал Фленсбург как бы себе самому. – Вместо скорого исполнения приказа офицера – болтовня. Ну, не знаешь города – так поди узнай, а чтобы через полчаса слесарь был здесь! – начальственным голосом прибавил он. Но, постепенно вглядываясь в изящную фигуру и красивое лицо Шепелева, он прибавил мягче: – Из дворян, что ли?

– Да-с.

– Ну, пожалуйста, будьте так добры, сделайте это для принца. Тут несчастье... Глупая дерзость. Надо скорее помочь... Это не обязанность часового, но этих животных послать нельзя! – показал Фленсбург на сладко уже храпящего Фому. – Пойдет, провалится и ничего не найдет до утра. Пожалуйста. Его высочество приказал...

– Я бы очень рад, – отозвался Шепелев, поглядывая на Державина, который осторожно отошел в сторону. – Но я не ручаюсь, что найду ночью слесаря, не зная города.

– Надо найти! Я вам передаю, наконец, приказ его высочества, государь мой! – уже нетерпеливо вымолвил Фленсбург.

– Постараюсь, – сухо отозвался Шепелев, весь вспыхнув. – Сделаю, что могу.

– Надеюсь... – усмехнулся Фленсбург презрительно.

Через минуту Шепелев вышел на улицу, ворча себе под нос. А вслед за ним и Фленсбург выехал из дому верхом.

## Х

Принц Георг Людвиг Голштинский был родной дядя государя, известный более Петербургу под именем принца Жоржа. Так звали его все, даже солдаты и народ. Он приехал в Россию со своим семейством, приглашенный Петром Федоровичем тотчас по восшествии на престол.

Государь не настолько любил и уважал дядю в действительности, насколько старался это выказывать, и особенно заботился об оказании ему всевозможных внешних почестей и знаков отличия. Во всяком случае, принц был единственный близкий родственник государя.

Вскоре по приезде принца указано было его именовать «императорским высочеством». Послам иностранных дворов было предложено официально делать принцу первый визит, и вообще во всех церемониалах и торжествах он занял первое место. Кроме того, принц был тотчас назначен шефом голштинского войска и начальником всей гвардии.

В Петербурге без всякой причины и без всякого повода принца сразу невзлюбили как гвардия, так и общество, даже народ.

— К нам важничать и наживаться приехали, — говорилось всюду про принца и его семейство. — Небось у себя-то в таратайке на базар за огурцами ездили, а тут цугом в восемь коней поехали!

Принц был человек крайне старообразный на вид, но еще почти молодой летами: ему было сорок три года. Но он был так худ, малоросл и плюгав, что издали мог пройти легко за юношу. К нему можно было вполне применить пословицу: маленькая собачка до старости щенок!..

Он был и недалекого ума человек, добрый, довольно образованный, но очень вялый и ленивый по характеру и по привычкам, нажитым у себя на родной стороне; с приездом в Россию он, однако, стал вдруг деятелен.

Принц Жорж приобрел немедленно, к собственному удивлению, некоторое влияние над своим царственным племянником, что было и нетрудно. Прежде всего принц собирался избрать предметом своих забот и реформ исключительно петербургскую гвардию. Вместе с тем по приезде в Россию и честолюбивые замыслы стали обуревать принца Жоржа. Он уже назывался штатгальтером Голштинии, но стал мечтать и надеяться с помощью русских войск и с согласия своего покровителя короля Фридриха сделаться герцогом Курляндским.

Со времени падения и ссылки Бирона место это было долго вакантно, затем его занял польский королевич против воли России и, конечно, сидел не очень твердо. Поэтому не было ни единого князька немецкого, который бы не стремился и не хлопотал перед русским правительством о том, чтобы попасть в курляндские герцоги. Теперь государь Петр Федорович положительно обещал дяде Курляндию, хотя бы пришлось воевать с Польшей и с Саксонией, и возвращаемый из ссылки Бирон должен был отказаться формально от своих прав в пользу принца.

Принц Жорж и его семейство не говорили, конечно, по-русски ни слова... Но это было и не нужно... В эти дни, наоборот, русским, желавшим выйти в люди, приходилось садиться с указкой за немецкую грамоту и учиться мороковать на языке своих недавних врагов.

И действительно, многие из гвардии и из общества засели вдруг усердно за немецкий язык, бывший долго в большой моде в России и в общем употреблении, но за время Елизаветы попавший в опалу вместе с Биронами и Минихами. Теперь же, когда Миних, уже возвращенный из ссылки, был при дворе, а герцог Бирон ожидался также всякий день в столицу, немецкий язык снова, будто с ними вместе, ворочался как бы из нравственной ссылки. Старики повторяли зады и припоминали, что знавали за время царствования Анны Иоанновны, а молодежь вновь садилась за мудреную грамоту. Все вернувшиеся из русской армии, действо-

вавшей против Пруссии и теперь отдыхавшей благодаря перемирию, имели огромное преимущество по службе в том, что понимали и могли говорить на языке принца Жоржа. Зато все отличившиеся в прошлой кампании и известные своею нелюбовью к Фридриху и пруссакам, – как бы ни говорили по-немецки, – были гонимы и притесняемы или прямо попадали в опалу.

Принц Жорж почти не знал своего племянника, русского государя, так как Петр Федорович был увезен в Россию еще ребенком. Петербург принц знал еще менее. Про Россию принц знал только, что она ужасно велика!.. Все русское принц понимал и судил со своей или, вернее сказать, с фридриховской точки зрения. За последнее время не только такие недалекие люди, как принц Жорж, но и более крепкие головы Германии жили в области политики умом короля прусского, будущего «Великого» в истории.

Между тем обстоятельства навязывали принцу, будучи при молодом государе-племяннике, отличавшемся непостоянством и неровностью характера, довольно видную роль и широкую деятельность.

Государь любил выслушивать мнение и советы дяди обо всем. И принцу волей-неволей приходилось во что бы то ни стало добывать себе свои мнения и советы и иметь их наготове.

Положение было мудреное. И вот тотчас по приезде судьба послала ему помощника и советника, уроженца Шлезвига, почти соотечественника, выехавшего еще юношей в эту неведомую варварскую Россию.

Государь назначил к нему офицера Фленсбурга как переводчика для сношений служебных и общественных. Принц вскоре сделал его своим адъютантом и незаметно, поневоле, попал вдруг в положение его ученика.

Умный, тонкий и образованный шлезвигский дворянин старинного, но обедневшего рода был прежде всего крайне честолюбив. Эта черта характера настолько преобладала в нем, что заставила его бросить когда-то отечество и ехать в неведомый далекий путь, ехать, чтобы попытать счастья в той дикой, но волшебной стране, где за последнее полувековье люди, подобные ему и даже более низкого происхождения, меньшего ума и образования, попадали, будто чудом, быстро и легко в фельдмаршалы, князья, министры, даже регенты огромной империи.

Лефорты, Минихи, Лестоки, Бироны не давали покоя как восемнадцатилетнему красивому юноше, каким он был когда-то, так и теперешнему тридцатилетнему, все еще не обогатившемуся шлезвигскому дворянину.

Дальновидность и осторожность одни сдерживали его предприимчивый, горячий нрав и тем делали его еще сильнее и искуснее. Недаром в гербе его, увенчанном баронской короной, напоминавшей ему об утерянном титуле, был на подкове стоящий барс с молотом в одной лапе и с жезлом в другой, а внизу девиз гласил: «Festina lente»<sup>6</sup>. Подкова для суеверных людей – символ удачи, даже счастья в жизни. Фленсбург, при всем своем уме, при всей своей разумности в обыденной жизни, был суеверен. Этот герб прадедов красноречиво говорил его сердцу, предсказывал будто ему многое. Подкова, барс, молот, жезл, баронская корона и девиз вмещали в себе наглядно и цель жизни Фленсбурга, и средства достижения этой цели. Но как вооруженный барс стоял на подкове, так и жизненная карьера Фленсбурга началась случайно. Он не бегал за фортуной, она постучалась к нему в двери, когда ему было еще только восемнадцать лет, и вдруг позвала его за собой. И он пошел за ней и только осмотнительно и заботливо не упускал из виду пользоваться случаем, даже целой цепью удивительно счастливых случайностей.

Восемнадцатилетний Фленсбург в исходе 1743 года приехал в Берлин, ища средств к существованию, и скоро уже собирался продать себя и надеть мундир солдата. Рекруты были нужны королю Фридриху.

---

<sup>6</sup> «Спешите медленно» (лат.).

В то же самое время в Берлин прибыла принцесса Иоанна Елизавета Ангальт-Цербстская с дочерью Софией Фредерикой. Прибытие их ко двору прусскому обуславливалось необходимостью испросить денег, а равно и советов короля перед роковым шагом – дальним путем в Россию, где красавица дочь должна была сделаться супругой наследника русского престола.

Великий монарх, проницательный и тонкий политик и мудрый правитель, сам почти придумал это сватовство. На свете издавна на всякого мудреца довольно простоты, и прусский король не мог предвидеть, чем станет со временем для него, для России, для Европы, для мира эта покровительствуемая им девушка, эта идеально красивая, умненькая, с быстрым и огненным взором, но еще с детским личиком шестнадцатилетняя принцесса София Августа Фредерика.

Принцесса-мать, женщина капризная и пустая, своенравная и упрямая в мелочах и бесхарактерная в важных случаях, давно уже сердила короля своими сборами в путь и отсрочками. И вот, наконец, король взялся за дело решительно, вызвал ее в Берлин, надавал много советов, кроме того, несмотря на свою невероятную скарედность, дал и денег. Наскоро собрав принцессе небольшую свиту, он подарил ей экипажи, конюхов, курьера и снарядил в дорогу под именем графини Рейнбек с приказом соблюдать строгое инкогнито до Риги, где встретит ее камергер Нарышкин.

В эту на скорую руку составленную маленькую свиту попал охотником юноша Фленсбург и выехал с принцессами в Россию в качестве чего-то вроде пажа.

Мог ли восемнадцатилетний юноша, красивый, умный и честолюбивый, в долгом пути по бесконечным снегам с частыми и долгими остановками и беседами на постоянных дворах остаться безнаказанно равнодушным спутником шестнадцатилетней красавицы принцессы? Недаром при всех маленьких дворах Германии того времени юные красавцы пажи были героями многих романов, иногда и трагедий. И Фленсбург знал это...

Как ни бессмысленно и глупо это, но бедный шлезвигский юноша во время пути безумно влюбился в юную принцессу – невесту царскую.

Ни обе принцессы, конечно, ни кто-либо из свиты не знали и не подозревали сердечной тайны юного пажа. Все равно полюбили юношу за его заботливую услужливость, тонкую любезность, в которой сквозила кровь прадедов-рыцарей.

В этот долгий и трудный путь, в часы однообразных зимних вечеров на привалах, где-нибудь в глуши, иногда в избе, под гул и завывание метели на дворе, среди чуждого народа и непонятного наречия, молодой Фленсбург был неоценим и незаменим. Он рассказывал, пел, смешил, показывал фокусы...

В Москве после крещения в православие принцессы Софии, затем после венчания великой княжны Екатерины Алексеевны с наследником престола неосторожная, беспокойная и бестактная принцесса Елизавета была вежливо выпровожена правительством из России. Надо было поневоле избавиться в лице ее от усердного агента Фридриха и от множества сплетен, интриг, которые она создавала между двумя дворами.

Поневоле, с досадой, с горечью выехала Елизавета Цербстская из Москвы, простясь с дочерью, чтобы никогда уже не свидеться.

Вся свита принцессы двинулась за ней, исключая юношу Фленсбурга. Он один был оставлен при дворе наследника, и оставлен по воле императрицы. Из всей свиты принцессы один Фленсбург обратил внимание на себя и заслужил благорасположение Елизаветы Петровны. Он один из всей «приезжей своры» не интригантствовал, не наущничал, держал себя с достоинством, полюбился наследнику и снискал даже приязнь и покровительство Шуваловых, Бестужева... Уверяли, что он будто тоже служил кому-то ловким соглядатаем, но ничто никогда не подтвердило этого...

Итак, Фленсбург остался в России, сделался равно любимцем и великого князя, и великой княгини и стал офицером гвардии.

Прошло из года в год десять лет. И однажды двадцативосьмилетний Фленсбург, уже капитан потешного голштинского войска, был вдруг арестован и выслан из столицы.

Оказалось, что полудетская любовь восемнадцатилетнего пажа не была бессмысленна и самонадеянна, не прошла с течением времени, при разнообразных переменях в его карьере и жизни. Это чувство в мужчине, в тонком придворном, в усердном офицере голштинского войска, только окрепло и как бы руководило всем его существованием.

Десять лет Фленсбург считался лишь преданным рабом великой княгини и великого князя и ни разу не изменил себе, ни разу не проговорился ей, что его сердце было поработщено еще принцессой Софией.

Но, наконец, однажды, в пору разных несогласий, ссор и семейных недоразумений при «малом дворе» в Ораниенбауме, голштинский капитан оказался вдруг одним из деятельных интриганов между мужем и женой... Екатерина Алексеевна открыла это случайно и пригрозила довести до сведения самой государыни. Интриган тотчас сознался сам во всем, объяснил все безумным давнишним чувством и ревностью и, почти рыдая, упал к ногам великой княгини.

Но чувство бедного шлезвигского дворянина, прежнего пажа, понемногу вышедшего кое-как в люди, показалось великой княгине только крайне оскорбительным. Она захотела немедленно избавиться от присутствия при дворе этого безумца и доложила обо всем императрице, прося перевести Фленсбурга куда-либо, дав назначение по службе... Но императрица приняла все горячо к сердцу, и Фленсбург был арестован, разжалован и сослан в Углич.

Великий князь назвал все клеветой и искренне пожалел забавного потешника своего голштинского войска.

Прошло еще много лет. Скончалась императрица, и через две недели по восшествии на престол Петр Федорович, хорошо помнивший всех своих, вернул Фленсбурга из ссылки, возвратил ему чины, подарил триста душ и назначил адъютантом-переводчиком к приехавшему дяде.

И вот при дворе нового императора снова появился капитан голштинского войска, правая рука и любимец дяди государя... и злейший, непримиримейший враг государыни. Долголетнюю страсть заменила в ссылке долголетняя ненависть.

## XI

Когда Шепелев, уже часов в шесть утра, вернулся в дом принца с слесарем, вооруженным инструментами, то Державин был уже сменен и на часах стояли незнакомые ему рядовые Семеновского полка. Он велел первому попавшемуся человеку доложить о слесаре, а сам собрался домой.

Лакей вернулся и, пропустив мастерового, вскоре выскочил снова из дворца принца и догнал на площади вышедшего уже Шепелева.

– Эй, батюшка! Вас!!! Вас надо! – кричал он, догоняя. – Вы тут ночью караулили-то?

– Я. А что?..

– Пожалуйста. Вас спрашивают. Сам, значит, его высочество требует в покои.

Шепелев в изумлении глядел на лакея:

– Верно ли? Не путаешь ли ты?..

– Как можно! Сказано мне вас позвать. Да уж и по-ихнему я разуместь стал малость. Говорили по-своему про ночного часового, то есть про вас, и послали меня вас *ишкнуть*.

Шепелев пошел за человеком. Сняв верхнее платье, он вошел в коридор, затем прошел большую залу, выходящую окнами на Неву, и, наконец, столовую, в противоположном конце которой виднелась дверь под тяжелыми драпри. Около нее стоял уже слесарь, приведенный им.

Дверь эта при звуке его шагов отворилась, и на пороге показалась та же фигура того же камердинера Михеля, виденного им в передней.

Едва Шепелев робко переступил порог и вошел в горницу, Михель указал ему почтительно по направлению к горевшему камину и выговорил по-русски, сильно присвистывая:

– Фот эфо высочество шелает с вас кофорить.

Шепелев, слегка смущаясь, быстро оглядел небольшой кабинет, заставленный всякой мебелью, столами и шкапами с книгами, с посудой и с оружием. У горевшего камина сидела в кресле и грела ноги в туфлях маленькая фигура в шелковом темном шлафроке и в черной бархатной ермолке; в углу, у окна, согнувшись и опершись локтями на колени и положив щеки на руки, сидел неподвижно несчастный ротмейстер, все в той же миске.

У дверей за спиной Шепелева, переминаясь с ноги на ногу, остановился впущенный слесарь.

Шепелев был сильно озадачен и смущен, не зная, что будет, и вытянулся, ожидая, что скажет принц.

Принц оглядел его и быстро вымолвил по-немецки:

– Вы из дворян, как сказал мне Фленсбург, и говорите хорошо по-немецки?

Шепелев смутился еще более и, заикаясь, вымолвил с отвратительным немецким выговором:

– *Их? Зер вених, ире кайзерлихе...*<sup>7</sup>

И молодой человек вдруг смолк, не зная, как по-немецки «высочество». «„Маэстет” нельзя сказать», – подумал он про себя.

– Вы, однако, разговаривали с моим адъютантом и с господином ротмейстером, когда он приехал, – заметил принц, опуская на решетку камина поднятую к огню правую ногу и приводя левую в то же положение, подошвой к теплу.

– Это не тот, – глухо отозвался ротмейстер, обращаясь к принцу.

Шепелев понял слова голштинца и хотел сказать тоже: «Это был не я», но пролепетал едва слышно:

– *Дас вар нихт михт!*

---

<sup>7</sup> Я? Очень немного, ваше царское... (нем.)

Последнее слово явилось уже от большого смущения.

– Iesus!<sup>8</sup> – тихо выговорил себе под нос принц; и он повторил, глядя в огонь и будто соображая: – «*Nixt nixt!!*»

Затем он повернул голову к ротмейстеру и сказал еще громче:

– Ну, mein lieber<sup>9</sup> Котцау, лучше подождать возвращения Фленсбурга; с переводчиком, говорящим «нихт михт», мы ничего не сделаем.

Ротмейстер промычал что-то в ответ не двигаясь и только вздохнул.

Шепелев между тем избавился от первого смущения и, услышав слова принца, понял, что его позвали для какого-то поручения. Он заговорил смелее, но стараясь выговаривать как можно почтительнее:

– Вас вольт ире кайзерлихе... – И, пробурчав что-то, он снова запнулся на конце этой фразы и снова подумал: «Экая обида! И как это высочество-то по-ихнему?!»

– Hoheit! – сзади шепнул ему догадавшийся Михель.

– Что-с? – отозвался Шепелев.

– Hoheit... – повторил Михель вразумительно.

– Heute? – повторил молодой человек. – Да-с. Конечно. Я с удовольствием... Сегодня же... Только что сделать-то?

Немец скорчил жалкую гримасу, как если б ему на ногу наступили, и отошел от юноши со вздохом, а принц стал объяснять по-немецки медленно и мерно, что ему нужен переводчик при работе «вот этого болвана» – показал он на одутловатую и пучеглазую рожу слесаря, глядевшего на принца, на все и на всех как бы с перепугу. Он стоял у дверей как деревянный, и только глаза его двигались дико с губ одного говорившего на губы другого.

– Мошет ви все такое с немески на руски... – снова нетерпеливо вмешался Михель, обращаясь к Шепелеву, но тоже запнулся тотчас и прибавил как бы себе самому: – Übersetzen<sup>10</sup>.

– Их? Зер вених!<sup>11</sup> – отвечал Шепелев, поймав, по счастью, знакомое немецкое слово. – Да что, собственно, желательно его высочеству? – прибавил он Михелю по-русски.

– Фот это... Так!.. – показал Михель на Котцау и затем стал двигать рукой по воздуху...

– Распилить кастрюлечку? – спросил Шепелев, стараясь выражаться как можно почтительнее.

– Was?!<sup>12</sup> – отозвался Михель, не поняв.

– Распилить, говорю, надо. – И Шепелев тоже задвигал рукой по воздуху.

Принц согласился, сказал «ja, ja!»<sup>13</sup> и потом еще что-то вразумительно и медленно, но Шепелев разобрал только одно слово: etwas<sup>14</sup>.

Наступило минутное молчание.

– Was etwas? – уже робея, прошептал Шепелев, чувствуя, что вопрос невежлив.

– O Herr Gott!<sup>15</sup> – воскликнул принц и обеими руками шлепнул себе по коленям.

– Ти... Мошно... это... так! – вступил уж Михель в непосредственные сношения с самим мастеровым, делая по воздуху тот же жест пиления.

– Распилить? – хрипло заговорил слесарь. – Отчего же-с. Позвольте... Это мы можем.

И слесарь двинулся смело к Котцау.

– Ты голову не повредишь им? – вступился Шепелев.

---

<sup>8</sup> Иисус (нем.).

<sup>9</sup> Мой дорогой (нем.).

<sup>10</sup> Переводить (нем.).

<sup>11</sup> Я? Очень немного! (нем.)

<sup>12</sup> Что? (нем.)

<sup>13</sup> Да, да! (нем.)

<sup>14</sup> Кое-что (нем.).

<sup>15</sup> О Всевышний! (нем.)

– Зачем голову повреждать! Помилуйте. Разве что подпилком как зацепит; а то зачем...

– То-то подпилком зацепит!

– Коли чугун плотно сидит, то, знамо дело, запилишь по голове... А то зачем...

Слесарь двинулся к ротмейстеру и прибавил:

– Позвольте-ко, ваше...

И слесарь заикнулся, не зная, как надо величать барина, что приходится пилить.

Котцау поднял голову и мрачно, но терпеливо глянул на всех.

Слесарь оглядел миску и голову со всех сторон и пробурчал:

– Ишь ведь как вздета. Диковина...

И он вдруг начал пробовать просто снять ее руками.

Котцау рассердился, отдернул голову и заговорил что-то по-своему.

– Так нельзя! Дурак! – шепнул Шепелев.

– Диковина!.. Вот что, ваше благородие!.. – воскликнул вдруг слесарь, как будто придумав что-то.

– Ну? Ну?.. Was? – раздались два голоса – Шепелева и Михеля.

– Надо пилить. Эдак руками не сымешь.

– Без тебя, болван, знают, что не сымешь! – шепотом, но злобно вымолвил Шепелев. – Так пили!

Слесарь взял с пола большой подпилком правой рукой, как-то откашлянул и повел плечами, но едва он ухватил миску за край левой рукой и наставил подпилком, как принц и Михель воспротивились. Им вдруг показалось, да и Шепелеву тоже показалось, что этот слесарь в два маха распилит пополам и миску, и самого ротмейстера.

– Ну... ну... – воскликнул принц по-русски и прибавил по-немецки: – Михель! Не надо. Подождем Фленбурга. Без него всегда все глупо выходит.

– Да-с, лучше подождать, – сказал Михель.

И принц уже недовольным голосом заговорил что-то, обращаясь к Котцау, затем прибавил Михелю, мотнул головой к дверям:

– К черту все это... zum Teufel! Уведи их... и подавай нам кофе.

И, повернув совсем голову к Шепелеву, принц сделал рукой и вымолвил добродушно, но насмешливо:

– Lebe wohl, Herr Nicht-micht<sup>16</sup>. Прозштайт. Шпазибо!..

Шепелев, выходя, снова бросил украдкой взгляд в угол, где светилась серебряная миска, и внутренне усмехнулся, но уже как-то иначе.

Случилось нечто труднообъяснимое.

Когда молодой человек входил к принцу, он был смущен, но вносил с собой хорошее чувство почтения и готовности услужить его высочеству. Теперь же – странное дело, идя за Михелем по коридору и сопровождаемый слесарем, он досадливо думал про себя: «Всех бы вас так нарядить!!»

– Ваше благородие, – послышался за его спиной веселый шепот. – Должно, это он не сам ее вздел? Ась? Кабы сам то ись, то бы и сымать тоже умел!

– А! Ну, тебя... – злобно отозвался молодой человек, срывая досаду на мастеровом.

Шепелев, выйдя от принца, зашагал через безлюдную Адмиралтейскую площадь, сумрачный и озлобленный, и направился домой к ротной казарме Преображенского полка, близ которой была квартира Квасова.

Чем именно оскорбили его у принца Жоржа, он объяснить себе не мог. Ни принц, ни Михель ничего обидного ему не сказали и не сделали. Его позвали быть переводчиком по ошибке, по тому, вероятно, соображению, что Державин хорошо говорил с Котцау по-немецки.

---

<sup>16</sup> Желая здравствовать, господин Нихт-михт (нем.).

Он отвечал смущаясь и переврал несколько слов незнакомого ему почти языка, принц только усмехнулся, только с едва заметным оттенком пренебрежения тихо повторил несколько раз эти слова и потом добродушно назвал его, прощаясь, *герром Нихт-михтом*.

– Ну, что ж такое! – бурчал Шепелев. – Ну, так и сказал! А ты нешто не сказал: «Прозштайт»? Что?! Разве мне присяга велит знать все языки земные и твой – немецкий хриплюн!! Вот тебе бы, Жоржу, следовало за наш русский хлеб знать и нашу грамоту.

## XII

Через часа два после ухода Шепелева к дворцу принца подъехал Фленсбург и, поспешно поднявшись по лестнице, быстро прошел в кабинет. Он нашел принца и ротмейстера за завтраком. Котцау немного повеселел, привык, должно быть, и, с увлечением что-то рассказывая, часто поминал кенига Фридриха, Пруссию и Берлин.

– А?... – воскликнул принц при появлении адъютанта. – Was giebt es Neues, mein liebster?<sup>17</sup>

Разговор продолжался по-немецки.

– Я был прав, Hoheit<sup>18</sup>, я навел справки, и оказывается, что это все тот же цалмейстер Орлов. Он с братом заехал с охоты и встретил господина Котцау в «Красном кабачке».

– Schönn! Wunderbar!<sup>19</sup> Отлично. Очень рад. Очень рад. Вот и случай... – весело воскликнул принц, потирая руки; и, встав, он начал бодро ходить по горнице.

Котцау с удивлением взглянул на принца. Радость эта ему, очевидно, не нравилась. Ему было не легче от того обстоятельства, что Орлов, а не кто-либо другой нарядил его так.

– Что же изволите мне приказать, Hoheit?

– Ничего, мой любезный Фленсбург. Ничего. Я дождусь десяти часов. Теперь восьмой. И поеду к государю. А в полдень господин Котцау будет бригадиром, ради удовлетворения за обиду. А господа Орловы поедут далеко, очень далеко... За это я ручаюсь, потому что я еще недавно подробно докладывал об них государю. И не раз даже докладывал. Пора! Пора!

– Но теперь, Hoheit, разве вы не прикажете мне обоих сейчас арестовать? – спросил холодно Фленсбург.

Принц остановился, перестал улыбаться, как-то заботливо подобрал тонкие губы и, наконец, повел плечами.

– Я полагаю, что ваше высочество как прямой начальник всей гвардии можете сами, без доклада государю, распорядиться арестом двух простых офицеров, которые буянят всю зиму и безобразно оскорбили господина Котцау, иностранца, вновь прибывшего в Россию, фехтмейстера, который пользуется, наконец, личным расположением короля.

– Да, да... Конечно... – нерешительно заговорил принц. – Я доложу его величеству. Я все это доложу, Генрих. Именно как вы говорите.

Принц называл любимца его именем только в минуты ласки.

Фленсбург повернулся, отошел к окну и молча, но нетерпеливо стал барабанить по стеклу пальцами. Толстогубый Котцау вопросительно выглядывал из-под миски на обоих. Он раздумывал о том, что этот адъютант Фленсбург более нежели правая рука принца.

Наступило молчание.

Принц Жорж, пройдясь по комнате, заговорил первый:

– Как ваше мнение, Фленсбург? Скажите. Вы знаете, я очень, очень ценю ваше мнение. Вы лучше меня знаете *здесь все*. – Принц налег на последние слова.

– Ваше высочество хорошо сделаете, – холодно заговорил тот, обернувшись и подходя к принцу, – если прикажете мне вашей властью и вашим именем тотчас арестовать двух буянов. А затем, ваше высочество, хорошо сделаете, если свезете господина Котцау в этом виде к государю.

– Как? – воскликнул принц.

– О-о? – протянул и Котцау, которому показалось это предложение бог знает какой глупостью.

---

<sup>17</sup> Что нового, мой дорогой? (нем.)

<sup>18</sup> Ваше высочество (нем.).

<sup>19</sup> Хорошо! Прекрасно! (нем.)

– Да, в этом виде. Тогда все обойдется отлично. А иначе ничего не будет. Ни-че-го!! – сказал Фленсбург.

– Почему же?

– Ах, ваше высочество, точно вы не знаете!!

Принц подумал, вздохнул и выговорил:

– А если они вам не будут повиноваться?

– Только этого бы и не доставало, – громко и желчно рассмеялся Фленсбург. – Да, скоро мы и этого дождемся. Нынче меня ослушаются, а завтра и вас самого, а послезавтра и...

– Ну, ступайте, – слегка вспыхнув, вымолвил принц. – Арестуйте и приезжайте... сказать... как все было.

Фленсбург быстро вышел, будто боясь, чтобы принц не переменял решения. Встретив в передней Михеля, он стал ему скоро, но подробно приказывать и объяснять все касающееся предполагаемой поездки принца во дворец вместе с Котцау. Затем он с сияющим лицом направился в свою комнату.

Во всем Петербурге не было для голштинца офицеров более ненавистных, чем братья Орловы, и в особенности старший. Была, конечно, тайная причина, которая заставляла Фленсбурга, сосланного когда-то по жалобе теперешней государыни, ненавидеть этого красавца и молодца, который кружил головы всем столичным красавицам и которому, наконец, стала покровительствовать и сама государыня.

Выслать из Петербурга безвозвратно и угнать куда-либо в глушь этого Орлова было мечтой Фленсбурга уже с месяц.

Сначала он выискивал другие средства, думал найти случай умышленно повздорить с Григорием Орловым и просить у принца заступничества, высылки врага. Но это оказалось опасным вследствие хорошо известной всему городу невероятной физической силы Орловых. Один из приятелей голштинцев предупредил его, что Орлов способен будет убить его просто кулаком, и все объяснится и оправдается несчастным случаем. А Фленсбург уже давно сжился с нравами страны, его приютившей, и знал сам, что на Руси всякий, убивший человека не орудием, а собственным кулаком, не считался убийцей.

«Так потрафилось! Воля Божья!» – объяснял дело обычай. И закон молчал.

Теперь Фленсбург был, конечно, в восторге от дерзкой шалости Орлова с вновь прибывшим фехтмейстером. Его мечта сбылась!.. Дело ладилось само собой.

Но не успел Фленсбург, придя к себе, одеться в полную форму, чтобы отправиться для ареста врага, как тот же Михель явился звать его к принцу.

– Раздумал! Побоялся. Не может быть! – воскликнул офицер.

Михель молча пожал плечами.

– Неужели раздумал?!

– Говорит – нужен указ государя... А впрочем, не знаю. Может быть, и за другим чем вас нужно.

Действительно, принц нетерпеливо ожидал адъютанта и любимца у себя в кабинете и виноватым, заискивающим голосом объяснил ему, что, по его мнению, надо подождать с арестом Орловых. Фленсбург весь вспыхнул от досады и тотчас же, не дожидаясь позволения, вышел быстро из кабинета. Гнев душил его.

В коридоре за офицером бросился кто-то, и чей-то голос тихо, робко повторил несколько раз вдогонку:

– Ваше благородие! А, ваше благородие!

Офицер не обращал внимания и шел к себе. Уже у самых дверей комнаты он, наконец, почувствовал, что кто-то схватил его тихонько за рукав кафтана.

– Ваше благородие! – раздался тот же жалостливый голос.

Фленсбург нетерпеливо обернулся.

– Чего там?

– Ваше благородие, окажите Божескую милость. Ослобоните...

– Чего?

– Ослобоните... Наше дело такое. За утро что делов упустишь. Работник у меня дома один. Одному не управиться. А здесь токмо сборы все одни.

– Да чего тебе надо? – вне себя крикнул Фленсбург.

– Будьте милостивы, ослобоните. А самая работа совсем нам не подходящая. И головку повредить тоже можно. А вы дозвоьте, я вашему благородию вашеского укажу... Немца Мыльнера. Тут на Морской живет. Мыльнер этот единым то ись мигом распилит. Мастер на эвто! Ей-богу. А нам где же? И головку тоже – помилуй бог.

– Ты слесарь, что часовой привел ночью?

– Точно так-с.

– Так пошел к черту. Так бы и говорил. Не нужно тебя. Убирайся ко всем дьяволам!

И Фленсбург, пунцовый, злобный, вошел к себе и заперся со злости на ключ.

Слесарь же, собрав свой инструмент с ларя в полу тулупа, прытко шмыгнул из дворца и бегом пустился по улице.

Добежав до угла набережной Невы, он вдруг наткнулся на кума.

– Эвоя, Вахромей. Откуда? – воскликнул слесарь и стал живо и весело рассказывать все виденное за утро. – А чуден народ. Ей-богу. Я вблизи-то к ним не лазал, – закончил он рассказ. – А как вздета, куманек! Ахтительно! Первый сорт вздета!

Кум Вахромей все слушал и молчал да все мотал головой.

– Да и не сам, значит... Кабы сам вздел, так за мной бы пилить не послали тады! – объяснил заключительно слесарь.

– Д-да! – заговорил наконец Вахромей. – А я так полагаю, что сам. Что мудреного? Ведь немцы. Надеть-то – надел, ради озорства, а снять-то и не может. Д-да! И опять тоже... На-а-ро-дец?! Нет, наш брат православный коли бы уж вздел, так и снял бы сам. Да! А этот, вишь, колено-то показывать взялся, да и недоделал.

– Сплоховал, значит... – рассмеялся слесарь.

– Сплоховал. Сплоховал! – жалостливым голосом шутил Вахромей.

– В другой раз уж показывать не станет.

– Ни-ни... Озолоти – не станет! Ученый теперь...

### ХІІІ

Бывший сдаточный солдат за «буянские» речи, а ныне капитан-поручик Аким Квасов стал за двадцать лет службы офицером в лейб-компании поумнее и поважнее многих родовитых гвардейцев. Сверх того десять лет службы простым солдатом при Анне Иоанновне и Бироне тоже не пропали даром и научили многому от природы умного парня.

Около тридцати лет тому назад бойкий и речистый малый Акимка, или Акишка, позволил себе болтать на селе, что в господском состоянии и в крестьянском все те же люди рождаются на свет. Акишка ссылаясь на то, что, таская воду по наряду в барскую баню, видел ненароком в щелку и барина и барыню – как их мать родила. Все то же тело человечье! Только будто малость побелее да поглаже, особливо у барыньки.

А через месяца два парень Аким, собиравшийся было жениться, был за эти «буянские» речи уже рядовым в Пандурском полку. Артикулу он обучился быстро, но язык за зубами держать не выучился! Однако смелая речь, однажды его погубившая, во второй раз вывезла. Ответил он умно молодому царю Петру II и был переведен в преображенцы. При Анне Иоанновне попал он и в Питер... В конце царствования ее снова за «воровскую» речь попал, по доносу «языка», в допрос и в дыбки, однако был прощен и вернулся в полк – ученым! И стал уже держать свой ретивый язык за зубами.

Но этот случай сделал его заклятым врагом немцев и приготовил усердного слугу «дщери Петровой» в ночь переворота. А за долгое царствование ее офицер лейб-компания Квасов поедом ел немцев. Тотчас по воцарении Петра Федоровича лейб-компания была уничтожена, офицеры расписаны в другие полки, и при этом капитан-поручика Квасова, как одного из лучших служаек, лично известного государю, когда еще он был великим князем, перевели тотчас в любимый государев полк – кирасирский.

Квасов поездил с неделю верхом и слег в постель... Затем подал просьбу, где изъяснялся так: «*Каласером* быть не могу, ибо всю кожу снутри себе ободрал на коне. Посему бью челом, кому след, или по новой вольности дворянской дайте абшид, или дозвольте служить на своих двух ногах, кои сызмальства мне очень хорошо известны и никогда меня обземь неприличным офицерскому званию образом не сшибали, и на оных двух ногах я вернее услужу государю и отечеству, чем на четырех, да чужих ногах, в кои я веры ни самомалейшей не имею. И как еду я на оных-то, непрестанно в чаянии того обретаюсь – быть мне вот на полу».

Вследствие этой просьбы, над которой государь немало потешался, Квасов был переведен в преображенцы. И каждый раз теперь, что государь видал его на смотрах и ученьях, то спрашивал шутя:

– Ну что, теперь не чаешь быть на полу?

– Зачем, ваше величество? Моя пара своих природных сивок пятьдесят лет служит, да еще не кормя! – отвечал однажды Квасов довольно развязно.

– Как не кормя? Сам же ты ешь? – рассмеялся Петр.

– Так я ем не для ног. А коли они чем и пользуются – так бог с ними! – шутил Квасов.

Теперь в пехотном строю Квасов избегал всячески попасть на лошадь. Зато был он и ходок первой руки, и ему случалось ходить в Тосну пешком, где жила одна его приятельница, простая баба.

Аким Акимыч Квасов был известен не одному государю, а чуть не всей столице отчасти своей грубоватой прямою речью, переходившей иногда чрез границы приличий, а отчасти и своим диковинным нравом.

О себе Квасов с самых дней переворота был уже высокого мнения, но не потому, что попал из сдаточных в дворяне. Насчет дворянства у Акима Акимыча так и осталось убеждение, вынесенное из барской бани.

– Вот и я важная птица ныне, – говорил он. – А нешто я вылинял, перо-то все то же, что у Акишки на селе было, когда сдали! – И Аким Акимыч прибавлял шутя: – Мне сказывал один книжный человек, когда я был походом под Новгородом, что Адам с Евой не были столбовыми дворянами, а оное так же, как вот и мною, службой приобретено было уже Ноем. Сей Ной именовался патриархом, что значило в те поры не то, что в наши времена, а значило оно вельможа иль сановитый муж. Ну-с, а холопы иль хамы пошли, стало быть, от Ноева сына Хама. Так ли-с?

– Так. Истинно! – должен был отвечать собеседник.

– Ну-с, а позвольте же теперь вам напомнить, что так как сей вышереченный Хам был по отцу благородного происхождения, то почему детям его в сем благородстве отказано? Ведь Хамовы-то дети те же внуки и правнуки вельможи. Вот и развяжите это!

К этому Квасов в минуты откровенности прибавлял:

– Эка невидаль, что в баре я попал. Мне за оное гренадерское действо князем мало быть! Ведь я головой-то был, а мои товарищи хвостом были.

Действительно, когда царица Елизавета Петровна приехала и вошла в казармы в сопровождении Лестока и сказала несколько известных в истории слов, то бывший за капрала Аким Квасов первый шагнул вперед и молвил:

– Куда изволишь, родная, туда за тебя и пойдем, чего тут калякать да время терять. Эй, ребята! Ну! Чего глаза выпучили? Разбирай ружья... Ну-тко куда, родимая, прикажешь идти?..

Выслушав объяснения и приказания Лестока, которого, конечно, не раз видал Квасов и прежде, дельный и удалый воин, неизвестно как, почти самовольно, принял начальство над полсотней товарищей и первый шагнул из казарм, весело приговаривая:

– А ну-кася, братцы. Посмотрим, немцу калачика загнать – что будет?..

– Будет заутрова по ведру на брата! – бодро и весело воскликнул в ответ один гренадер.

Квасов был тоже один из первых, вошедших во дворец правительницы... вслед за Елизаветой. Действуя в эту незапамятную ночь, Квасов почти не помышлял о важности своей роли и своих действий. Только после, много времени спустя, когда он уже был дворянин и офицер лейб-кампании, он отчасти уразумел значение своего подвига двадцать пятого ноября. Выучившись самоучкой читать и писать, он постепенно заметно развился, бросил прежнюю страсть к вину и стал ничем не хуже старых столбовых дворян. В это время, то есть лет десять спустя после переворота 1741 года, кто-то, конечно недобрый человек, разъяснил ему, что его заслуги недостаточно вознаграждены государыней. Квасов поверил и стал немного сумрачен. В это же время, будто срывая досаду, приобрел он привычку выговаривать всем то, что думал, все, что было у него на уме насчет каждого. Скоро к этому привыкли и только избегали попасть к Квасову *на отповедь*. Скрытое и никому не ведомое чувство часто говорило в Квасове: «Ты правительницу-то, тетку Лепольдовну, из дворца тащил и царевне престол, выходит, доставил. Коли Квасов не граф Квасов – так потому, что не озорник, не лез в глаза, да и хохлы Разумовские затеснили».

Действительно, у честного и доброго Акима Акимыча был конек, или, как говорилось, захлестка в голове. Он был глубоко убежден, что государыня Елизавета Петровна его особенно заметила во время действия и своего восшествия на престол и хотела сделать его генералом и сенатором, приблизить к себе не хуже Алексея Разумовского, но враги всячески оболгали его и затерли, чтобы скрыть и оттеснить от государыни.

Теперь холостяку было за пятьдесят лет. Как человек, он был добр, мягок, сердечен, но все это пряталось за грубоватостью его. Будучи уже дворянином, Квасов выписал к себе с родины брата, определил в полк, вывел тоже в офицеры и женил. Но вскоре брат этот умер. Как офицер и начальник, Аким Акимыч был *«наш леший»*. Так прозвали его солдаты гренадерской роты.

– Солдат – мужик, а мужик – свинья, стало быть, и солдат-свинья! – рассуждал Квасов, дойдя до этого собственным размышлением. – Из ихнего брата надо все страхом доставать или выколачивать. Молитву Господу Богу и ту из него дьяволов страх вытягивает. Кабы Сатаны на свете не было, народ бы Богу не молился. Да и на свете известно, все от битья начало свое имеет. И хлеб бьют! А привези его с поля да не бей! Голодом насидишься. И опять в истории доказано, что и первый человек Адам был бит. Когда он согрешил, то ангел Господень явился к нему, захватимши с собой меч огневидный, и погнал его с Евой вон. И надо полагать, что путем-дорогою он их важно пробрал. А то чего ж было и меч оный с собой брать.

А между тем у этого «нашего лешего» было золотое сердце, которое он сдерживал, как неприличный, по его мнению, атрибут солдата, и только изредка оно заявляло себя. Родственника своего единственного в мире, юношу Шепелева, Квасов полюбил сразу и начал уже обо-  
жать.

## XIV

Когда Шепелев вошел в свою горницу, то услышал рядом кашель проснувшегося и уже вставшего дяди. В щель его двери проникал свет.

Через минуту Аким Акимыч вышел из своей горницы в коротком нагольном полушубке и в высоких сапогах. Он всегда спал одетый, а белье менял только по субботам, после бани. Спал же всегда на деревянной лавке, подложив под голову что придется. Он объяснял это так:

– На перинах бока распаришь, а вечерними раздеваниями только тело зазнобишь и простудишься. После пуховой перины везде будет жестко, а после моей перины (то есть дубовой скамьи его), где не ляг, везде мягко. А на ночь раздеваться – это не по-русски. Это немцы выдумали. В старые годы никто этого баловства не производил, хоть бы и из дворянского происхождения.

Войдя со свечой к юноше, названному племяннику, которого он из любви считал долгом учить уму-разуму и остерегать от мирских искушений, Аким Акимыч поставил свечу на подоконник и стал в дверях, растопыря ноги и засунув руки в карманы тулупчика. Он пристально уперся своими маленькими, серыми, но ястребиными глазками в глаза молодого питомца. Шепелев, сидя на кровати, снимал холодные и мокрые сапоги. Сон одолевал его, и он не решался начать тотчас же рассказывать дяде все свое ночное приключение, а мысленно отложить до утра. Постояв с минуту, Квасов вынул из кармана тавлинку с табаком и высоко поднял ее в воздухе, осторожно придерживая между двумя пальцами.

– Сколько их? – мыкнул он важно, но шутя.

Шепелев, начавший раздеваться, чтоб лечь спать, остановился и рот разинул:

– Что вы, дядюшка?

– Сколько тавлинок в руке? Ась-ко!

– Одна. А что?..

– А ну прочти *Отче наш* с присчетом.

– Что вы, дядюшка!.. Помилуйте... – заговорил Шепелев, поняв уже, в чем дело...

– Ну, ну, читай. Я тебе дядя! Читай.

Шепелева одолевал сон, однако он начал:

– Отче наш – раз, иже еси – два, на небеси – три, да святится – четыре, имя Твое... Имя Твое... – Молодой малый невольно зевнул сладко и, спутавшись, прибавил не сразу: – Шесть...

– А-а, брат. Шесть?! А-а!!

– Пять, пять, дядюшка. Да ей-богу же, вы напрасно...

– Не ври! – вымолвил Аким Акимыч и, приблизясь, прибавил: – Дохни.

– Полноте, дядюшка. Да где же мне было и пить? Я на карауле был. Я вам завтра все поведаю.

– Дохни! Караул ты эдакий! Дохни. Я тебе дядя.

Шепелев дохнул.

– Нету!.. Где же ты пропадад до седьмого часу? Караул сменили небось в четыре. Неужто ж с чертовкой с какой запутался уж... Говорил я тебе, в Питере берегись...

– У принца Жоржа в кабинете был. Батюшки! Мороз! – отчаянно возопил Шепелев, ложась в холодную постель. – Да-с, в кабинете! И разговаривал с ним. Б-р-р-р... Да как свежо здесь. Что это вы, дядюшка, казенных-то дров жалеете? Б-р-р-ры.

– У принца Жоржа? Что ты, белены, что ли, выпил иль пивом немецким тебя опоили? У принца Жоржа!

– Да-с.

– Ты! – крикнул Аким Акимыч.

– Я-с! – крикнул шутя Шепелев из-под одеяла.

– Когда?

– А вот сейчас.

– Ночью?

– Ночью!

Наступило молчание. Квасов стоял выпуча глаза и, наконец, не моргнув даже, взял с окна стоявший рукомойник и поднес его к лицу укутавшегося молодого человека.

– Воды не боишься?

– Нет, не боюсь, – рассмеялся Шепелев.

– И не кусаешься?

– Нет.

– Почему? Как? Пожар, что ли, у него был?

– Нету.

– Ну, убили кого? Иль ты сам ему под карету попал? Он ведь полуночник. Гоняет, когда добрые люди спят.

– Нет, ничего такого не было.

– По-каковски же ты говорил с принцем? – уже с любопытством вымолвил Квасов, поставя на место рукомойник.

– По-каковски? Вестимо, по-немецки! – отчасти важно сказал молодой человек.

– По-немец... По-немецки!! Ты?

– Разумеется. Он же по-нашему ни аза в глаза не знает. Так как же...

Квасов вытянул указательный палец и, лизнув языком кончик его, молча поднес этот палец к самому носу племянника, торчавшему из подушки.

– Ну, ей-богу, дядюшка, по-немецки говорил. Немного, правда... но говорил... Ей-богу.

– Вишь, приткий. Скажи на милость! – рассуждал Квасов сам с собой и вдруг прибавил: – Да Жорж-то понял ли тебя?

– Понял, конечно.

– А ну, коли ты врешь? – снова стал сомневаться Квасов.

– Ей-богу. Ну как мне вам еще божиться?

– Стало быть, складно говорил? Хорошо? Не то чтобы ахинею какую?..

– Еще бы! Известно, складно, коли понял! – воскликнул Шепелев.

«А нихт-михт?!» – будто шепнул кто-то малому на ухо.

– Только раз и соврал, – сейчас же признался он, – вместо *мих* сказал *михт*.

– Ну это пустое! – важно заметил Квасов и прибавил: – А по-ихнему что такое михт-то?

– Михт – ничего.

– Ан вот и врешь! – обрадовался Квасов и ударил в ладоши. – *Ничего* по-ихнему нихт! Вот я больше твоего, выходит, знаю.

– Да вы не поняли, дядюшка. Михт не значит *ничего*, а нихт значит *ничего*.

– Чего? Чего? Не разберу...

Шепелев повторил. Квасов снова понял по-своему.

– Так михт – совсем ничего, стало быть...

– Совсем ничего...

– Эка дурацкий-то язык! Господи! Стало быть, на приклад, если у немца ничего нет, он говорит: нихт. А если у него, у дурака, совсем ничего нет, так он говорит: михт. Тьфу, дурни!..

– Ах, дядюшка!.. Да вы опять не то! Михт – такого и слова нет по-немецки.

– Зачем же ты его говорил?..

– Да так...

– Как? Так! Соврал, стало быть?

– Соврал.

– Ну вот я и говорил, что ты путал...

– Надо было сказать: мих.

– Д-да. Вот что! Надо-то мих... Так, так... Ну это не важность. Мих, михт – это все одно. Об чем же вы говорили? Рассказывай.

И Аким Акимыч, со свистом понюхав табачку из березовой тавлинки, присел на кровать к племяннику.

Шепелев, зевая и ежась от холода, вкратце рассказал все виденное и слышанное по случаю приезда голштинского офицера в серебряной миске.

– Так! Так! – задумчиво заключил рассказ Квасов. – Которому-нибудь из двоих да плохо будет.

– Кому?

– Одному из двух озорников! – важно проговорил Квасов. – Либо Ваське Шванвичу, либо Гришке Орлову.

– Почему ж, дядюшка, вы на них думаете?

– Ты, Митрий, ничего не смыслишь! – сказал Аким Акимыч нежнее. – Миска-то Шванвича либо господ Орловых! Пороса ты!.. – Слово «пороса» было самое ласкательное на языке Квасова.

Так звал он покойницу жену брата, которую очень любил; так же звал одну крестницу, жившую теперь замужем в Чернигове; и так стал звать названного племянника, уже когда полюбил его.

– Ты, пороса, смекай! Откуда приехал голштинец? С арамбовской дороги с рейтарами. А наш Алеха туда на охоту вчера поехал с братом.

– Да. Надо полагать, из Арамбова он прямо.

– Кастрюлечка или миска-то кухонная или какая?..

– Да. То ись я не знаю, она не простая! Она серебряная!

– Серебряная! – воскликнул Квасов. – Се-ре-бря-ная!! Не кухонная кастрюля?

– Нет, дорогая... французская, должно быть. Хорошая! Только уж погажена.

– Сдавлена на голове как следует, зер гут.

– Да, зер гут! – рассмеялся Шепелев. – Даже лапочки эдакие под скулами загнуты, будто подвязышки.

– Ну, господа Орловы! Более некому. Либо наш преображенец Алехан, либо тот цалмейстер Григорья. Верно! Оно точно, что Шванвич Васька тоже эдако колено отмочить может, даже, пожалуй, всю кастрюльку эту в трубку тебе совет двумя ладошками; но у него, братец, из серебра... – Квасов присвистнул, – не токмо кастрюль, а и рублей давно в заводе нет. Да! А господа Орловы, особливо Григорья, любят эти разные безделухи заморские. Ну как бы из этого колена не вышло чего совсем слезного... Государь голштинца в обиду не даст. Шалишь!

– Неужто сошлют?

– Верно говорю тебе. Ну, спи скорее... Через два часа ротная экзерциция на дворе...

– Я не встану. Где же мне встать. Что вы?

– Врешь, встанешь...

– Я уморился, дядюшка.

– Ничего, встанешь. Я тебе дядя!

Аким Акимыч пошел к себе в горницу и бормотал:

– Ну, голштинец даром с рук не сойдет! За битого двух небитых дают, стало, за побитого немца двух Орловых и отдадут. Да и того мало еще... То не при Лизавет Петровне, – со святыми ее упокой, Господи! – перекрестился Квасов. – Немец ныне вздорюжал паки и гораздо...

Квасов задумался среди своей горницы. Снова понюхав с богатырским шипеньем табак из тавлинки, он поморгал глазами от наслаждения и взял было новую щепоть, но остановился и скосил пристальный взгляд куда-то под шкаф, будто вдруг нашел там что-то... Ему внезапно пришло нечаянное соображение и поразило его.

– И диковинное у нас дело – немец этот! – пробурчал завзятый и умный лейб-кампанец. – Совсем ина-ко, чем вот на ярмарке или базаре бывает. Подвоз велик, а в цене не падает! Да! Поди-ко вот развяжи это!..

## XV

Часу в девятом Квасов все-таки разбудил своего названного племянника. Шепелев, зевая, мысленно ругаясь и посылая дядю к черту, натянул длинные форменные сапоги, напялил мундир свой из толстого синего сукна с красным подбоем на отвороченных фалдах и пошел на ротный двор, где собиралась его рота на ученье.

Вскоре прибыл их майор Воейков и вместе с Квасовым разделил рядовых на кучки, и каждая со своим флигельманом занялась воинской экзерцицией, маршировкой и новыми приемами с ружьем и со шпагой, которые введены были с месяц назад по примеру голштинского потешного войска.

Шепелев встретил в одной из шеренг уже знакомое ему теперь лицо одного рядового, который весело кивнул ему головой и усмехнулся дружелюбно. Это был вчерашний ночной приятель – Державин.

Ученье, благодаря сильному морозу и тому, что майор Воейков был чем-то озабочен и не в духе, продолжалось очень недолго.

Шепелев, как только мог, скорее отделался от экзерциции ружьем и своего флигельмана-учителя. Ему хотелось поскорее повидаться со своим ночным товарищем по караулу и передать ему все, что с ним у принца случилось после его ухода. Но молодого рядового уже не оказалось на плаце.

Разыскать Державина в лабиринте казармы, похожей на какой-то вертеп, переполненный людом, солдатами, бабами и ребятишками, было дело нелегкое. Молодой человек около получаса расспрашивал, где живет рядовой Державин. Вдобавок никто не знал фамилии вновь прибывшего в полк рядового. А имя и отчество дворянина-солдата Шепелев сам не знал. Пришлось давать приметы разыскиваемого товарища.

Наконец одна толстая женщина, мывшая в корыте тряпье, отозвалась сама, услышав расспросы Шепелева.

– Это наш барчонок... Гаврила Романыч звать? – спросила она фальцетом. – Его, кажись, эдак, Державиным зовут.

– Да, Державин. Недавно приехал из Казани.

– Ну, вот! Я тебя провожу, родной мой.

И толстейшая баба с тонким детским голоском провела Шепелева через весь коридор и ввела по грязной и мокрой лестнице со скрипевшими и провалившимися ступеньками. В темных сенях она показала ему на большую круглую щель, из которой падал ясный, белый луч света и серебряным пятном упирался в пол.

– Вот, родненький мой, туточка и Гаврил твой Романыч. Тута первый семейник нашего унтера Волкова, где и твой Романыч кортомит...

И баба, пропустив Шепелева вперед, стала спускаться, спеша к своему делу.

Шепелев хотел отворить дверь, но не находил, шаря рукой в темноте, ни крючка, ни щеколды, ни чего-либо, за что мог бы ухватиться.

Он постучал и стал ждать. Никто не шел, он хотел опять стукнуть, но услышал вдруг, хотя вдалеке от двери, голос Державина, который кричал нетерпеливо:

– Ну, потом, потом!!

Кто-то, очевидно женщина, отвечала что-то неслышное за запертой дверью.

Затем снова раздался громкий, убедительный голос Державина:

– Да я-то почему же знаю, голубушка! Ну, сама ты посуди. Я-то почему знать могу?... Глупая же ты баба! Право.

Шепелев начал опять стучать в дверь, но, прислушавшись, не идет ли кто отворять, услышал только снова голос Державина, кричавшего уже нетерпеливо и сердито:

– А и я! А и ты! А и мы! А и он!.. Нешто человек так говорит, это птица так кричит... Птица, птица, а не человек!..

Шепелев стал стучать кулаком.

– Тяни пальцем-то... За дыру-то потяни, – раздался чей-то басистый голос из-за двери.

Шепелев просунул палец в замасленные жирные края дыры и, потянув, легко отворил дверь.

Перед ним был снова небольшой коридор и перегородки. Здесь было, однако, немного чище.

– Где тут комната Гаврилы Романыча? – спросил Шепелев, увидя через первую же отворенную дверь лежащего на кровати унтера.

– Сюда, сюда... – раздался голос Державина из-за другой перегородки.

И молодой человек вышел к гостю в коротеньком нагольном тулупчике. За ухом его торчало большое гусиное перо.

– Здравствуйте. Спасибо вам, что пришли, пожалуйста! – И он ввел Шепелева к себе. – Как вы пролезли в мою щель, в мою камору, или, вернее выразиться, в эту Гоморру?

– Меня проводила баба. А то и вовек бы не добрался...

В маленькой горнице Державина, на малом саженном пространстве, между двух перегородок, стояла кровать, покрытая пестрым одеялом, сшитым заботливой и терпеливой рукой из сотни разноцветных клочков ситца; в углу помещался маленький стол с несколькими вещами, с десятком книжек и тетрадок, а посреди них стеклянная баночка с чернилами и блюдце с песком... В другом углу, на полу, стоял красный сундук, обитый оловянными вырезками и бляхами и расписанный лиловыми цветочками. На нем лежали снятый мундир, камзол и шляпа рядового. У потолка над столом висела темная икона и торчала запыленная верба. Над кроватью, припиленная булавками к доскам перегородки, висела, загибаясь углами, серая большая картинка, изображавшая императрицу Елизавету Петровну в короне и порфире. Это была работа самого Державина, сделанная пером очень искусно.

– Вот-с, занимаюсь... Письмо пришла просить написать, – сказал Державин, указывая на женщину лет сорока, которая собиралась уходить при появлении Шепелева.

– Я из коридора слышал, как вы горячились...

– Я им часто так – к сродникам пишу... и всегда в горячке...

– Вы писанье-то оставьте у себя, Гаврила Романыч, – сказала женщина. – Я ввечеру зайду.

– Да, да, уж ступай, Авдотья Ефимовна! Успеется, не горит ведь! – отвечал Державин.

– А то вы и сами без меня отпишите. А то у нас стирка велика. Насилу к Благовещенью управимся. Вы сами-то лучше, родимый.

– Как можно, голубушка! Разве я могу знать, что тебе писать?

– И-и, батюшка, а мне-то и где же знать!.. Вы грамоте обучены, так вам-то лучше все известно. Дело дворянское, а я хоть и хвардейская – а все тоже баба, деревенщина.

Державин вдруг заволновался и обратился к Шепелеву, указывая на женщину:

– Вот, государь мой, верите ли? Завсегда так-то... Придет вот какая из них: напиши письмо, свекрови ли там, тетке ли, шурина какому... Сядешь это и скажешь: ну, говори, мол, что писать... А она в ответ: не знаю, родненький мой. Ты уж сам... И не втолкуешь ведь ни за что – хоть тресни.

Шепелев рассмеялся.

Женщина стояла в дверях и заговорила, слегка обижаясь:

– Что ж? Мы не навязываемся. Мой Савел Егорыч за вас на канаве вчера три часа отбыл. Да на прошлой неделе тож двор у прынца мел... за вас же. Сами знаете.

– Я, голубушка, это знаю. Я не корю, пойми ты, а, напротив того, спасибо говорю, потому мне легче писать, чем дворы мести да канавы рыть... А я говорю про то, что коли пришла ваша сестра письмо отписать, так сказывай: что?

– Мы люди неграмотные. Вы дворянского *празгвожденья*, так вам лучше.

– Да празгвожденья-то я будь хоть распрокняжеского, распроархисветлейшего, а все ж таки я, голубушка, не могу Святым Духом знать, что тебе нужно твоей свекрови отписать. Пойми ты это, Авдотья Ефимовна.

И Державин даже ударил себя в грудь в порыве одушевления.

– Что же! Мы не навязываемся, – совсем обиделась вдруг женщина. – Хозяин мой скazujeет... На канаве-то как шибко ухаживают, народ-то... Вчера он в ваш, значит, черед это был, с морозу-то пришел, как из бани; рубаха мокрая на ём, да и спину-то не разогнет... Вот что, барин мой хороший!.. А писулю-то писать неграмотному – как ни взопрей, не напишешь. А вам оно что?.. Тьфу оно вам! Плевое дело. Сидите вот туточки да чирикаете по бумажке... А на канаве...

– Ну вот тут и рассуждай!.. – махнул Державин рукой.

– Как вам будет угодно! Хошь и не пишите... Мы не навязываемся.

– Ну ладно, ладно, Авдотья Ефимовна. Не гневайся. Приходи ввечеру-то все-таки.

– Придем уж, коли требуете... А уж если милость ваша будет – вы сами бы, говорю... Стирка нас съела... Ну, просим прощенья.

Женщина вышла. Державин снова махнул рукой ей вслед.

– Порешенный народ! – сказал он. – Колом не вдолбишь. Пиши я, изволите видеть, ее свекрови в Новгород, что сам знаю...

– Да бросьте! – сказал Шепелев. – Гоняйте их вон, коли скучно.

– Нельзя, сударь. Я вам уж сказывал про свое положение... Видите, как живу. Вы жалуетесь вот на ротные ученья да на смотры. А мы ведь и там мерзнем, да потом еще нас по городу гоняют на работы. Слышали, вон говорила она про мужа-то, что пришел с морозу мокрый... Ну-с и я вот так-то с приезда горе мыкал. А теперь мое одно спасенье за себя кого из солдат выставить. У меня с ними уговор: я буду женам писули да цидули их писать, а мужья за меня отбояривайся с лопатой или с метлой.

– Да, если эдак, то разумеется...

– А то, помилуйте, с чего бы я стал время терять на такое водотолчение. Я и то, когда почитать вздумается книжку какую, ночь сижу. Свечу всю сожгу; да что ж делать? Нешто, будучи состоятельнее, пошел бы я в бабы письмоводители? Вы вот присядьте да послушайте, чем мы занимаемся. Сюда лучше, на сундук. А то стуло-то мое ненадежно.

Державин опростал сундук от платья и шляпы, Шепелев сел на него и, улыбаясь, приготовился слушать. Державин, стоя среди горницы, стал читать взятый со стола исписанный лист.

– Ну вот хоть тут. Об государыне покойной. Прислушайте: «Уведомились мы, что и вы, сестрица, от Прокофия Немого известны, что и мы на наш век несчастными в горе сиротами. А и скончавшая себя государыня к нам милостями и щедротами была. А что будет впредь нам, того не ведаем. Коли в войну не пойдем. Благодетель наш государь Петр Федорыч гораздо шибко нас не жалует, а свои ренбовские полки. И на прошлой Масленой у нас был смотр, все в следомости нашел. А мой Савел Егорыч про то же сказывал и за оное отодран был. А про телка, что отписываете, и рады бы мы всей к вам душой, да пути и холода велики – подохнуть может. А и себя разорите, а и нам-то не в удовольствие. А на ротном затеснении велико от людства и скотинке боле местов нет. А у Прасковьюшки отелилась в Миколы, на двор унтер выгнал, сказывая, что грязнит очень. И все-то из злобства его выходит, потому нрав у него. По тому случаю подох, что морозом егохватило зря... И не съели!.. А и я вам тож на капустке благодарствую. А и вы, сестрица и братец, про свое житье-бытье отпишите».

И Державин прибавил, смеясь через лист желтой бумаги, который держал перед собой:

– Любопытно-с? Только и есть что: «А и я, а и он, а и вы...»

– Да вы бы, Гаврил Романыч, – заговорил Шепелев, – если уж необходимость с ними возиться, опросили бы ее и написали сразу. А эдак ведь, поди, дольше гораздо.

– Зачем же я, сударь мой, буду письмоводительствовать? Она говори, я напишу. А-эдак уж я, выходит, в переписке с бабьем всероссийским окажусь сам, коли стану сочинительствовать послания к ним.

Видя, что Державин как-то обидчиво горячится, Шепелев переменял разговор.

Он пробыл с час у своего нового приятеля. Державин передал ему, что в роте известно уже всем об ряженном голштинском офицере и что он, как очевидец, рассказал все капитану Пассеку, который очень интересовался сим случаем.

Шепелев в свою очередь передал все подробности своего визита к принцу, не скрыв от Державина и те слова немецкие, которые переврал.

Молодые люди весело хохотали. Державин предложил давать ему уроки немецкого языка всякий свободный вечер.

– Ныне это – первое дело! – сказал он. – Знай воинский артикул да морокуй по-ихнему! Приходите сегодня ввечеру, с нынешнего дня и начнем, и глядите – через месяц уж не скажете: ни хт-ми хт. Приходите.

– Нет, сегодня не могу. Должен быть у Тюфякиных, – отозвался Шепелев.

– У невесты! Не терпится!.. – подмигнул Державин.

– Ей-богу, нет... Она мне не по сердцу. А надо быть...

И молодые люди простились, уговорясь снова свидеться на следующее утро.

## XVI

Третьего июня 1743 года у бедного гарнизонного офицера Державина, в городе Казани, родился первый ребенок, сын, названный Гавриилом. Новорожденный был так слаб и хил, что его тотчас же пришлось, по обычаю, «запекать в хлебе», то есть класть в теплое тесто. Родители его очень сожалели о том, что средства их не позволяют прибегнуть к более верному способу сохранения жизни ребенка, а именно: класть его всякий день в теплую шкуру телят, только что отделенную от мяса. Однако и тесто помогло, ребенок пережил первый месяц, самый опасный, и остался на белом свете, чтобы со временем стать великим поэтом.

После сына явилось на свет еще двое детей, но вскоре они умерли. Выбиваясь кое-как из стесненных обстоятельств, почти из бедности, отец Державина бросался на все, что обещало ему верный кусок хлеба. Разумеется, кроме офицерской службы, он не мог ничем добывать его. Таким образом, он менял места служения, и все детство маленького Гаврилы прошло в путешествиях и передвижениях. Сначала отец перешел на службу из Казани в Яранск, но и там не очень повезло ему, и он перешел в Ставрополь. Здесь прожил он еще довольно долго, но затем был зачислен в Пензенский пехотный полк и должен был снова перебираться на жительство в Оренбург.

Тут надо было уже подумать о том, чтобы учить грамоте, а затем и разным наукам девятилетнего мальчика. В Оренбурге только и был один человек, способный обучать наукам, немец, некто Иосиф Роза. Несмотря на такую нежную и поэтическую фамилию, немец этот был преступник, сосланный за убийство в каторгу и затем водворенный в Оренбурге. Каторжник, конечно, не из любви к науке и педагогике завел у себя в доме маленькую школу, и хотя говорилось, что он обучает разным наукам, но в сущности бывший каторжник знал только хорошо свой собственный язык. Мальчик Державин вместе с прочими товарищами поневоле отлично выучился этому языку, но возненавидел учителя, который варварски наказывал своих учеников; возненавидел он и язык немецкий, не предугадывая, что в будущем знание этого языка повлияет на все его существование и на всю его жизненную карьеру.

Вскоре, однако, одиннадцатилетний Державин не мог даже учиться и у Розы, по недостатку средств. Отец его, давно страдавший чахоткой, наконец, умер, и вдова с мальчиком остались чуть не на улице. Они были дворяне и могли доказать это дворянство документами, могли доказать, что предок их Роман, по прозвищу Держава, был когда-то мурзою в Золотой Орде и владел большим количеством земли и большими стадами баранов. Теперь же у вдовы Феклы Андреевны Державиной было всего шестьдесят душ крестьян, но не только в разных уездах, но даже в разных губерниях. Доход, который изредка получался с имения, был так мал, что на него нельзя было даже проехать в свои владения, чтобы лично собрать со своих подданных законную дань. После смерти отца оказался долг, который вдова никоим образом не могла уплатить: долг этот был пятнадцать рублей ассигнациями.

Кое-как устроивши свои маленькие дела, Державина переехала в свою родную Казань. Фекла Андреевна, полуграмотная женщина, высоко ценила образование, была сама любознательна и от природы умна. И все ее помыслы и мечтания о сыне сосредоточивались на том, чтобы сын обучился всему, чему только можно обучиться. Когда-то в Оренбурге она, почти против воли мужа, посылала любимца к Розе, и, когда мальчуган жаловался и плакал от побоев учителя, молодая женщина утешала его, что наука даром не дается.

– Всякого учили и били, – говорила она, – но битые до свадьбы заживет, а учение-то останется.

Вскоре после их переселения в Казань в родном городе, к великому восторгу очень немногих лиц, а в том числе и на счастье Державиной, вдруг открылась гимназия. Разумеется, пятнадцатилетний Гаврила поступил в нее тотчас, а вскоре был одним из первых учеников.

Здесь в первый раз принесло свои плоды ученье у каторжника Розы. Когда пришлось во вновь открытой гимназии пополнять комплект учителей, то преподавателем немецкого языка был взят сосланный в Казань немецкий пастор Гельтергоф.

Старик немец и пятнадцатилетний мальчик тотчас подружились. Пастор полюбил Державина за то, что мог с ним совершенно свободно болтать на своем родном языке, мальчик полюбил немца и привязался к нему отчасти из жалости. Сосланный в Казань пастор был преступник особого рода. Гельтергоф отправился в ссылку за то, что сказал начальству какое-то немецкое слово вместо русского. Слово это, на его беду, звучавшее отлично по-немецки, оказалось бранным словом по-русски. При гонении немцев в царствование императрицы Елизаветы этого было достаточно, чтобы улететь за тридевять земель, и бедный Гельтергоф с быстротой молнии из окрестностей Петербурга перелетел в Казань. Поэтому открытие гимназии и место учителя спасло его не только от нищеты, но даже от голодной смерти. Державин не только искренне привязался к ссыльному учителю, который был так мало похож на его прежнего, ссыльного же учителя, но, кроме того, мальчик, любимый товарищами, всячески защищал от них доброго немца-учителя. Вскоре он даже добился того, что все его товарищи, делавшие прежде всякие гадости немцу, теперь стали относиться к нему добродушнее. И, конечно, мальчик не думал, что когда-нибудь обстоятельства так переменятся, что этот несчастный сосланный преступник делается вдруг, при другой обстановке, его покровителем.

Казанская гимназия, как и немногие другие, зависела от Московского университета, только что открытого. Директор гимназии, некто Веревкин, собрался через год по открытии заведения с отчетом к Шувалову и заказал разным ученикам разные работы, дабы похвастать перед начальством в столице. На долю Державина пришлось начертить карту Казанской губернии. В гимназии особенно обращалось внимание на танцы, музыку, фехтование, рисование. Музыки Державин не любил, а танцевать разные менуэты и фехтовать на эспантонах хотя имел большую охоту и сильное прилежание, но, однако, ни то ни другое ему не далось. Оставалось малевание и рисование. Малевать было дорого, потому что надо было на свой счет покупать краски, а средств на это у матери не было. Пришлось ограничиться в своей страсти карандашом и пером. И вот именно пером уже шестнадцатилетний мальчик владел с особенным искусством. Карта Казанской губернии, по общему отзыву, была отличная, да, кроме того, юный Гаврила скопировал пером масляный портрет императрицы так удачно, что Веревкин хотел даже и портрет этот захватить с собой. Отказался же от этой мысли новый директор новой гимназии только потому, что друзья не советовали ему везти портрет императрицы к Шувалову, сделанный простыми чернилами. Пожалуй, окажется вдруг дело неприличным и ему за это придется идти в ответ!!

С нетерпением ждали возвращения начальника из столицы все немногочисленные ученики. Веревкин вернулся сияющий, вознагражденный и привез награды всем. Все ученики были записаны рядовыми в разные гвардейские полки, а Державин, как искусник в черчении карт и планов, был записан в инженерный корпус с званием кондуктора. Все юноши надели соответствующие их званию мундиры, в том числе и кондуктор. Так как между картой Казанской губернии и инженерным искусством оказалось в глазах начальства много общего, то немудрено, что вскоре инженерному кондуктору поручили, как специалисту, заниматься исключительно фейерверками, которые устраивались в торжественные дни; да, кроме того, всеми маленькими пушками, из которых палили при торжествах, тоже ведал теперь кондуктор.

Однако инженер-артиллерист-фейерверкер Державин недолго состоял в этих званиях. Через год Веревкин получил приказание от Шувалова исследовать и подробно описать развалины старинного города *Болгары*,

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.